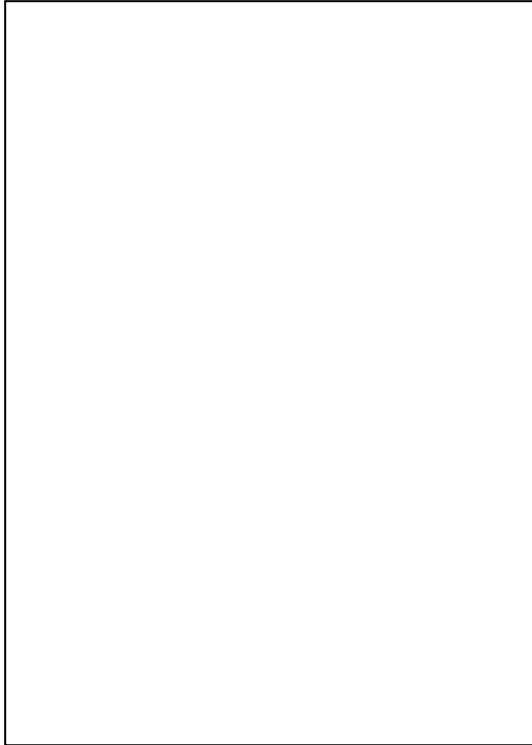


Посвящение

Фронтиспис



КОНСТАНТИН КИКОИН

ПО ОБЕ СТОРОНЫ
С В О Б О Д Ы

*Эссе, очерки,
воспоминания*



ИЕРУСАЛИМ
«ФИЛОБИБЛОН»
2011

ON EITHER SIDE OF FREEDOM
(Essays, recollections)
(Jerusalem: «Philobiblon», 2011)

Редактор и оформитель
Леонид Юниверг

Корректор
Владимир Френкель

В оформлении книги использована средневековая
гравюра, воспроизведенная в книге К. Фламариона
«Атмосфера: Популярная метеорология»

ISBN 978-965-7209-23-5

© Константин Кикоин, текст, 2011
(*e-mail: konstk@post.tau.ac.il*)

© Изд-во «Филобиблон», оригинал-макет, 2011
(*e-mail: yuniverg@netvision.net.il*)

Отпечатано в типографии «Ной» (Иерусалим)

СОДЕРЖАНИЕ

Письмо кембриджскому другу:
Вместо предисловия (6)

СОТВОРЕНИЕ ОСТРОВОВ (17)

Войти в Телемскую обитель (18)

Будапештские «пришельцы» (65)

Орфей, вернувшийся из ада (89)

Иоффе, Рентген и другие (101)

Луи Рапкин, последний ученик
Баруха Спинозы (122)

Обетованные Низкие земли (138)

Острова Серебряного века (149)

Искусство как утиная охота (166)

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ НА СЕМИ ВЕТРАХ (177)

Мишель Кикоин – живописец
парижской школы (178)

Старший брат (197)

Младший брат (208)

Моя первая книжка (221)

ПИСЬМО КЕМБРИДЖСКОМУ ДРУГУ*

Вместо предисловия

Не пуста Европа, но, знаешь, как-то разрежена.

Д.Х. Из частной переписки

Dear Sir Дима!

Вот я и выкроил время порассуждать в ответ на твое последнее послание о свободе, как она нам является и как мы ее воспринимаем.

Начать бы хотелось с очаровательного анекдота, рассказанного Зиновием Зиником (бывшим диссидентом, а ныне русскоязычным английским писателем, живущим в не очень понятном статусе в поместье какого-то английского ленд-лорда, о чем он и сочиняет свои романы). Так вот, этот З.З. описывает прием на лужайке дома одной английской дамы, в котором участвовал И. Бродский, на тот момент новоиспеченный нобелевский лауреат. Лауреат солировал, и птички аккомпанировали его голосу. Внезапно через низенький каменный забор, отделяющий лужайку от соседнего имения, перегнулся сосед: твидовый пиджак, очки, трубка, серые патлы. Он гневно размахивал трубкой и тыкал ею в воздух – в сторону Бродского, стоявшего к нему спиной. Наконец, джентльмен разразился следующей речью: «Я стою здесь, сэр, вот уже добрый час, сэр, и слышу, сэр, исключительно ваш голос. Это занудство. Вы иногда должны дать возможность и другим вставить слово. Сэр!». И сосед скрылся за забором. Его кожаные туфли проскрипели

* Очерки, собранные в этой книге частично были опубликованы в израильской периодике (Еженедельник «Окна» – прилож. к газете «Вести»; журнал «22» под ред. А. Воронеля; серия сборников «Русское еврейство в зарубежье», гл. ред. и издатель М.А. Пархомовский).

по дорожке к дому. Потом громко хлопнула дверь. В наступившей тишине щебетали птички...

Вот вам, *sig*, иллюстрация к теме свободы в английском и российском исполнении. Живя в России и имея весьма обширный круг знакомств, я постепенно возненавидел большие *parties*, где любому из участников было что сказать, но ни у кого не возникало охоты что-нибудь послушать. Обычно этот тип взаимодействия приводил к фазовому расслоению, когда возникали маленькие группки, но и в парциальных разговорах *à deux* либо *à trois* участник замолкал только для того, чтобы переждать, пока иссякнет партнер, и тогда продолжить с того места, где он тебя перебил пять минут тому назад. Другой вариант – когерентное состояние *party*, когда кто-нибудь один решительно захватывал кафедру, и все остальные не имели выбора, кроме как внимать. И не было соседа с трубкой за бором...

Так вот, по моим понятиям, свобода – это не просто постоянный диалог с Создателем. Это вообще диалог. Только два свободных человека способны к диалогу. Свободный человек не охраняет свою территорию от пришельцев и вторженцев. У него вообще нет огороженной территории, поэтому он открыт к диалогу с кем угодно. Например, к воображаемому диалогу с идеальным партнером (как Кончеев с Годуновым-Чердынцевым – в набоковском «Даре»). Он готов и монолог выслушать, если уж партнер ему такой попался. Потому что свободы у свободного человека отнять нельзя, кроме как забрав его в рабство (или забрив в армию). Но даже и в условиях тотальной регламентации остается местечко для свободы (вспомни эссе Альбера Камю о Сизифе и его камне или описание службы Сократа в афинском ополчении у Платона).

Достичь свободы в принципе очень просто. Нужно только точно знать свое место в мировом устройстве. Если оно тебе известно, тебе не нужно ничего охранять – вселенная и так принадлежит тебе, или, что то же самое, ты – ей.

Это просто в принципе, но довольно сложно в частности. В особенности сложно совкам, детям Сова. Матушка Сова

делала все, чтобы никто из нас никогда не узнал свое истинное место и предназначение, потому что на каждого из нас в отдельности и на всех в совокупности у нее имелись свои виды. Даже отдельный свободный человек был ей опасен, а группа свободных людей – это уже смертельная опасность, и компетентные ее органы имели своей главной задачей искоренение этой заразы в зародыше. Железный занавес, внутренние враги и постоянные происки международного империализма были обручами на бочке, в которой мы все мариновались. Это все уже давно сформулировано у Оруэлла, Кестлера и других, но я упоминаю общеизвестные обстоятельства и механизмы, чтобы напомнить, что все мы – и оказавшиеся на Западе, и оставшиеся внутри – есть продукты распада той самой бочки. Так где и когда нам было искать свое личное место в мироздании? Ответ: здесь и сейчас. Вариантов здесь есть два – на исторической родине и в постисторических палестинах. Насчет сейчас я бы сказал, что нынче уже поздновато и начинать надо было позавчера.

Начнем с пространственных координат. Историческую родину и мы, и обсуждаемые нами компатриоты покинули, так что рассмотрим остальные пять шестых суши. Мы как будто с тобой согласились, что американский вариант нам неинтересен, поскольку слоган «*America, love it or leave it!*» многое поясняет в механизме тамошних свобод. Остается Европа в двух вариантах – англосаксонском и средиземноморском. Из северного варианта мы исключаем Германию по причинам пугающего сходства немецкой свободы с ее российской кузиной. Скандинавию мы тоже вычеркиваем, поскольку скандинавы ощущают себя как малые северные народы с периферии. Остаются голландцы, ирландцы и англичане. В средиземноморском варианте я с сожалением исключаю Пиренеи – отчасти по причине их исторического неблагополучия, отчасти из-за недостаточности собственных прямых наблюдений. Остаются французы, итальянцы и греки. И жители Эрец-Исраэль.

Средиземноморская свобода замешана до некоторой степени на анархическом отношении к жизни. В том смысле,

что греко-латиняне свое общество принимают не слишком все-ррез, особенно в части государственных установлений. Итальянская и греческая цивилизации претерпели столь много исторических изменений, что никакие современные новации не могут всерьез изменить давно установившийся тип отношений внутри этноса. В наших терминах они там все уже давным-давно нашли свое место и инстинктивно знают границы своей свободы, а значит, ею обладают. Я думаю, что это относится даже к жителям мафиозного итальянского юга. Посторонние с севера и востока не имеют никаких шансов разделить это ощущение внутренней свободы, которое местным дано от рождения. Франция – дело несколько иное. Галльская цивилизация гораздо моложе, но зато французы пребывают в центре мира. Они владеют лучшей частью Европы. У них – Монтень, Паскаль и Декарт. Они придумали *Liberte, Egalite, Fraternite*... У них – Париж со всей его международной требухой. Но французская свобода весьма относительна, и синдромом шовинизма галлы несомненно страдают. А это означает внутреннюю неуверенность в прочности своего положения в мировом колесе. Потому и к чужеземцам они гораздо менее терпимы, чем другие латиняне. К тому же они так и не изжили свой национальный позор последней мировой войны и не очень определились со своим колониальным наследием... Так что человеку из бочки фонарь французского рационализма не светит.

Вернемся на север. Нидерланды, свет души моей. Голландцы соорудили свою свободу собственными руками. Они отвоевали ее у моря и ветра, у папы римского и короля испанского. Зажатые между трех тяжелых жерновов (Англия, Германия, Франция), они сумели не сократиться в маленький народ типа каких-нибудь датчан. Они благоустроили свою болотину до невероятного совершенства, нашли правильный баланс между волей и обязанностью, порядком и либерализмом. Они потрясающие мастера компромисса, но тверды в однажды принятых решениях. У них королева гуляет в болотных сапогах по лесу вокруг своего скромного дворца, а

патриции с удовольствием женятся на желтых индонезийских красотках. Они не боятся впускать к себе арабов и суринамцев, хипарей и сексменьшинства со всех концов света... Они точно знают свое место на земле, хотя я не поручусь насчет неба. Возможно, это их не очень сильно заботит. Хорошо быть свободным голландцем, можно даже стать им, въехав в Голландию с любой стороны... но я не поручусь насчет неба. Если вопросы миропорядка тебя волнуют больше, чем вопросы благоустройства, то плоская Голландия покажется тебе тесноватой и пресноватой. Так что ты вряд ли ощутишь себя свободным в том смысле, какой мы с тобой обсуждаем.

Ирландия. Вполне легендарный остров, о жителях которого мы знаем в основном из литературы, причем большей частью англо-ирландской. Это Джонатан Свифт, Бернард Шоу, Айрис Мердок... Отдельно высится Джеймс Джойс, сложивший дублинскую одиссею ирландского еврея Леопольда Блума. Я подозреваю, что ирландцы, несмотря на свою тяжкую историю, а может, и благодаря ей, обрели-таки свою внутреннюю островную свободу. Они, было, все потеряли, обратились в абсолютное историческое ничтожество, разбежались со своего острова кто куда... но при этом сохранили свой бесподобный ирландский юмор, здоровую склонность к умеренному пьянству и способность ко всем искусствам. А теперь и у них на острове жизнь, как я понимаю, художественно наладилась и пришла в некоторое гармоническое равновесие, несмотря на нерешаемую проблему Ольстера. Они восстановили из небытия свой древний язык, они почти простили грехи угнетавшим их англичанам. Они с точностью до диаспоры хорошо представляют свое место на земле и не забывают о существовании Создателя. Короче, они подозрительно похожи на нас – евреев!

Вопрос о еврейской свободе мы оставим на сладкое, а теперь давай переправимся на соседний остров, где и вы проживаете, *sig*. Я подозреваю, что мы не должны доказывать друг другу, что Англия, возможно, – единственное место на земном шаре, где индивидуальная свобода почти свободна от

посягательств. Почему это так случилось именно в Англии – я затрудняюсь объяснить, но исторически Англия неуклонно развивалась в сторону освобождения личности (как водится, с отдельными отклонениями, например, в эпоху Кромвеля или во времена Питта Младшего). И это при четкой стратификации общества почти на протяжении всей ее истории! Но если принять определение свободы, данное в начале этого текста, то стратификация вовсе не мешает, а в каком-то смысле даже способствует ее достижению. Великолепный образчик свободного англичанина Лоуренс Стерн был священнослужителем, жестко привязанным к своей социальной роли, но это никак не препятствовало его свободному самовыражению. Лорд Честерфилд, составивший для своего сына кодекс прагматической морали и набор приемов поведения джентльмена в обществе, вроде бы учил его всячески применяться к обстоятельствам, в которых он может оказаться на своем жизненном пути. Но в конечном итоге лорд учил своего наследника чувствовать себя свободным и среди себе подобных, и среди «низших». А когда в послевоенной Англии социальные перегородки стали более гибкими и проницаемыми, возникли такие феномены внутренней свободы, как *Beatles* внизу и *Lady Di* наверху... Насколько свободным может себя ощущать в Англии чужестранец, ты знаешь лучше, чем я, так что я свой дифирамб на этом месте обрываю. И перехожу к наиболее трудно формулируемому предмету: свободный еврей в Эрец-Исраэль.

Если следовать тому же определению в рамочке, то в Израиле свободны только «харедим» (ортодоксы). Это свобода добровольного гетто. Жители этого гетто с точностью до городского квартала знают свое место на земле, их отношения с Богом урегулированы до последних мелочей, обязанности перед государством сведены к минимуму, а кажущееся гетто в действительности имеет отделения по всей Ойкумене. Человек из Меа-Шеарим у себя дома и в Бруклине, и на *Rue des Rosieres* в парижском квартале *Marais*, и в лондонских ешивах... Что касается всех остальных – то мы живем в становящемся государстве, куда все только что или недавно приеха-

ли со своим багажом. Багаж этот всё еще до конца не распакован, хотя те, кто приехали первыми, уже успели умереть. Их дети вменили заслуги первopоселенцев себе, хотя сами они где родились, там и пригодились. Плюс неразрешимые проблемы с «двоюродными братьями», уходящие корнями в библейские времена. В общем-то никто из нас не имеет шанса найти свое истинное место в этой стране, просто потому, что ее еще по-настоящему нет. Как не было Соединенных Штатов в середине XIX века. Но это означает, что вместо статического определения свободы (того, что в рамочке) следует пользоваться динамическим. Страна находится в процессе становления, и твое место в ней есть траектория свободного полета, или падения, или диффузионного перемещения. Крошечные размеры страны (обобщенное гетто) не мешают, а способствуют этим динамическим процессам. Еще четверть века назад Израиль был дремучей провинцией на окраине западной цивилизации, но сегодня ситуация совершенно иная, и жизненная траектория почти любого израильянина выписывает петли в самых разных частях цивилизованного (а иногда и третьего) мира. И я полагаю, что человек, рожденный для свободы, может погоняться за ней и на этой узенькой полоске земли, граничащей сразу с тремя мирами. Тем более, что место для Последней Битвы тоже назначено здесь (*Har Megiddo* вблизи шоссе № 65), а сессия Страшного Суда состоится в парке вблизи музыкального центра Альперта (проезд от центральной иерусалимской автостанции автобусом 24-го маршрута – не в Шабат!).

Теперь мы, собственно, можем перейти к основному предмету нашего диалога – *«компатриотам, которые подличают и унижаются, хотя у них есть, наконец, возможность жить свободно»*. В этой твоей инвективе ключевое слово – наконец. Ведь у всех нас переход из того мира в этот пришелся на более-менее последнюю фазу жизни, а первая – наиболее важная – прошла под крылышком Софьи Власьевны (Совы, Системы или как ее там). Все мы в той или иной степени страдали профессиональным идиотизмом: будучи

спецами в своем деле, которое требовало человека почти целиком, в остальных вопросах мы оставались младенцами. Ну, не совсем, конечно, ибо кое-какое общее образование у большинства из нас было, и той небольшой части общего интеллектуального ресурса, которую мы тратили на не связанные с наукой материи, на выработку «общего мировоззрения» хватало. К тому же у каждого или почти у каждого было какое-нибудь гуманитарное хобби – история, музыка, поэзия, на худой конец... Но что это были за история, музыка, поэзия! Они кроились в основном из того скудного материала, который можно было почерпнуть из родительских либо собственных библиотек, практически не отличавшихся одна от другой в условиях тогдашнего гуманитарного дефицита. «Новый Мир», «Иностранка», в самом лучшем случае «Вопросы литературы», или «Журнал Московской Патриархии» у особо продвинутых... Би-Би-Си и прочие голоса поставляли нам альтернативную точку зрения на нас же из-за бугра, плюс кое-какой самиздат. И все это, в сущности, было совершенно неважно, ибо читая и переваривая эту скудную пищу, мы откладывали ее в защечные мешки или еще куда подальше, а в реальной жизни оставались теми же совками, послушно принимающими и выполняющими правила игры. Иезуитская иерархия общественно-научных ценностей, созданная во времена «отца народов», заставляла даже лучших из нас бесстыдно плясать под дудку Системы. Должности, академические звания, поездки, премии – на все эти морковки мы ловились не хуже, чем гуманитарная интеллигенция.

О какой, собственно, свободе могла в нашем случае идти речь? Даже диссиденты, за редчайшими исключениями, были не ближе к этой свободе, чем цепные псы, которых на них спускала Система. И вот... оковы рухнули. Свобода нам лает радостно у входа. И с каким же багажом мы переступили порог? Что мы знали о свободе, кроме принятой в наших кругах условно-демократической манеры обращения друг к другу без чинов и отчеств, воспоминаний о походной романтике и либеральной атмосферы наших летних и зимних школ? Все

эти детские привычки не имели никакого значения и смысла в том мире, где мы внезапно очутились. И большинство из нас их отринуло без сожаления. С чем же мы остались в результате? А вот с теми самыми гладиаторскими навыками борьбы за морковки, которые выработала в нас Система. Из опыта прошлых эпох мы знаем, что рожденный и воспитанный рабом может стать только вольноотпущенником. Именно из вольноотпущенников состоит в основном наша научная диаспора. Она на все сто процентов старается использовать свой недюжинный интеллект, чтобы освоиться в этом мире. Освоиться – значит выучить правила игры, оценить свои возможности и максимально их использовать за тот укороченный срок, который ей отведен. Какое все это имеет отношение к феномену и ноумену свободы? Вообще говоря, ровно никакого. Освоиться – значить устроиться в существующих обстоятельствах, а вовсе не найти свое истинное место. Вольноотпущенник может выглядеть бóльшим патрицием, чем урожденный Гракх (читай «Пир Трималхиона» Петрония). Он будет 150%-ным американцем, убежденным австралийцем, европейцем или еврейцем, но стать свободным он вовсе не стремится. Он хочет стать «одним из них», а вовсе не самим собой. Чтобы стать самим собой, нужно было начать думать раньше... Поэтому на твой риторический вопрос имеется риторический ответ: они (мы) действуют ровно так, как умеют, как научила суровая советская действительность, а поскольку цели у них (у нас) те же, что и в старые добрые времена, то и средства, их оправдывающие, тоже те же.

Ладно, теперь давай обсудим положение тех, которые думали раньше и успели освободиться, хотя бы частично, от своей старой чешуи еще до рокового пересечения линии паспортного контроля. Человеку этого сорта, в общем, не позавидуешь. Начав думать раньше, он успел стать чужим на своей исторической родине, уйдя во «внутреннюю эмиграцию». Приземлившись на другой стороне, он вскоре обнаруживает, что из внутреннего эмигранта он превратился во «внешнего иммигранта» со всеми вытекаю-

щими для социального статуса и самоощущения последствиями. Далее у него есть по меньшей мере два пути.

(I) Продолжать процесс внутренней эмиграции теперь уже в условиях внешней. В этом случае он быстро превращается в маргинала, ложится на дно, и мы теряем его из виду. (II) Продолжать поиски своей свободы. Тогда он, скорее всего, переходит в конечном итоге в хорошо известное из родимой истории состояние «космополита безродного». Общество лиц, достигших этого состояния, «*небольшое, смешанное и бесхитрое*», по определению мессира *W.* К великому моему сожалению, в качестве компактной группы проживания в реальной действительности эти люди существовать не могут (за исключением, возможно, каких-то эзотерических сект в Индии), однако в мировой литературе эта мечта была несколько раз воплощена. Телемская обитель у Рабле, Общество розенкрейцеров у Гёте и Жорж Занд, паломники в стране Востока у Германа Гессе...

Лирическое отступление

Когда я был юным идеалистом, я не то, чтобы верил, но как-то отчетливо себе представлял, что вот однажды встречу человека, который посмотрит на меня внимательно и поманит за собой. И приведет в какой-то обширный кабинет с плотными драпировками на окнах. В глубоких креслах будут сидеть джентльмены и испытующе на меня смотреть. Я им что-нибудь проямлю про свои идеи и устремления, они снисходительно, но не обидно посмеются... и скажут, что решили заняться моим *Education Sentimentale*. Кто-то из них станет мне наставником и откроет мне истины, о которых я не смею пока догадываться... и далее все в соответствии с одним из упомянутых выше литературных источников. Через какое-то время и я буду занимать одно из глубоких кресел на регулярных собраниях, и новый трепещущий юнец будет что-то мямлить про свои устремления, и мне предложат стать его наставником. Ну, и так далее.

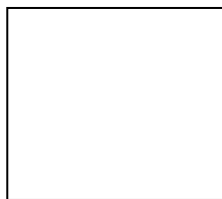
С той поры прошло лет сорок-пятьдесят. Учителей жизни я так и не встретил, и до истин пришлось докапываться самому. То, что я узнал про масонские ложи из случайных источников и нечаянных знакомств, довольно сильно расходится с прекраснодушными литературными представлениями XIX века. Трепещущие юнцы, правда, иногда мне встречались, что было, то было. Но я нисколько не упрекаю своих покойных соблазнительей. Сама идея Телемской обители гораздо сильнее любого ее реального воплощения. Человек, увы, смертен и, следовательно, слаб. Реальные умники, собравшись в количестве более двух, начинают соперничать, ревновать, бороться за влияние на другие умы – ну, ты это все прекрасно знаешь на примере вашего Общежития имени монаха Бертольда Шварца, то есть, я хотел сказать, Института имени Дау. А вот умники в количестве двух – это совсем другое дело. Телемскую обитель в виде виртуального образования такой малой плотности, что только парные взаимодействия в ней и возможны, я себе вполне представляю, особенно при современных средствах коммуникации. Возможно, она существует. Возможно, мы с тобой являемся ее членами-корреспондентами.

Осталось обсудить последний «практический» вопрос. Где на нашем глобусе найдется место этим самым космополитам? Вообще-то, по определению, местом жительства космополита является весь глобус, хотя имеется мнение, что для космополита любая страна является чужбиной... Но как бы то ни было, должно ведь существовать какое-то место на земле, где стоит шкаф с твоими любимыми книгами, стол с твоей любимой лампой и где разбит сад Академа с любимым маршрутом для прогулок. Пусть это будет одна из стран, оставшихся в моем списке. Например, Англия. Или Израиль. А в другие места мы будем наезжать при случае. Или принимать у себя гостей – бывших компатриотов, каждый из которых имеет ровно столько свободы, сколько умещается в его измордованной иудео-христианской душе.

К.К.

17-27 июля 2000, Ришон-ле-Цион, Израиль

СОТВОРЕНИЕ ОСТРОВОВ



ВОЙТИ В ТЕЛЕМСКУЮ ОБИТЕЛЬ

*Где капля блага, там на страже
Уж просвещение иль тиран.*

А. Пушкин

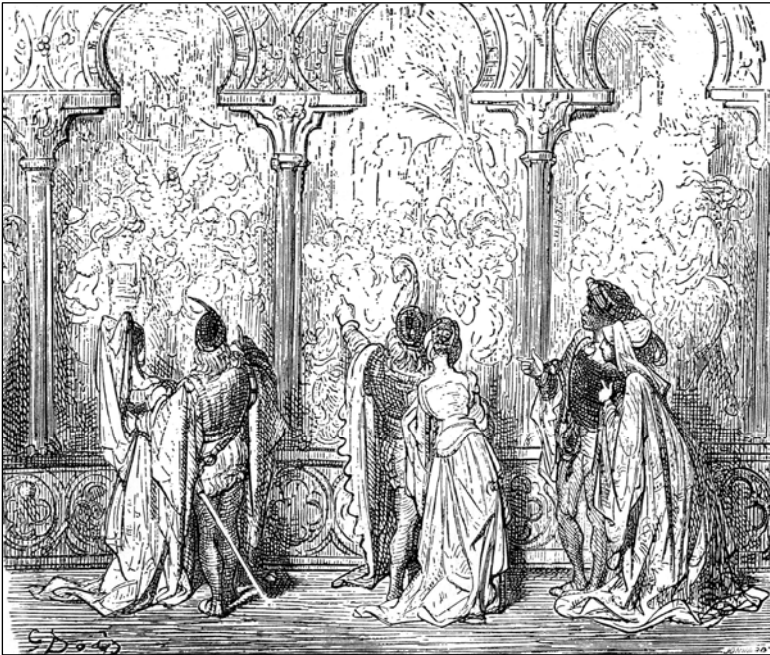
В печальном списке гуманистических иллюзий, которые, как правило, не выдерживают испытания реальной прозой жизни, есть и такая: если собрать умных, веселых, красивых, талантливых и предприимчивых молодых людей в одном месте под руководством умудренных мужей и предоставить им ничем не стесняемые возможности для умственной и практической деятельности, то они создадут центр новой духовности, выработают правила общежития и укажут косному человеческому обществу путь в царство свободы.

Широко образованный и остроумный гуманист, полиглот и анатом, путешественник, словоплет и охальник Франсуа Рабле придал этой иллюзии законченную форму. В заключительных главах «Повести о преужасной жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля» он спроектировал антимонастырь, известный в истории культуры как Телемская обитель. Учрежденная в честь победы над оголтелым феодалом Пикрошолем, эта обитель финансируется из бездонных карманов гиганта Гаргантюа, и все в ней устроено наилучшим образом.

По требованию ее настоятеля, монаха Жана, обитель должна была стать не похожей ни на какую другую. Никаких стен, отделяющих ее от остального мира, никакого распорядка, никаких циферблатов, ибо считать часы – это самая настоящая потеря времени. Что же касается кандидатов в будущие телемиты, то на главных воротах вывешен предлинный стихотворный список тех, кому советуют: *«идите мимо!»* Это всё любимые персонажи Бранда и Эразма, команда и пассажиры «Корабля дураков». Все остальные – мо-

лодые, свободные, происходящие от добрых родителей, просвещенные – «входите к нам с открытою душою». А устав обители состоит из одного пункта: «делай, что хочешь».

Строительством обители венчается ехидное фавлье доктора Рабле о войне из-за свежеспеченных лепешек между лернейскими пекарями и синейскими пастухами. По закону сказочного жанра история умалчивает о том, что вышло из гуманистических упражнений обитателей Телема, что случилось с проектом короля Гаргантюа и монаха Жана, когда веселые юноши и девушки вошли в зрелый возраст, народили детей и состарились, и как к их беззаботному творческому времяпрепровождению относились окрестные пекари и пастухи, продолжавшие тянуть свою житейскую лямку в зеленой долине



Молодые и свободные, происходящие от добрых родителей.

Илл. Г. Доре к кн. Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Луары. Мы знаем только, что реальную Францию вскоре после смерти Франсуа Рабле охватили религиозные распри, и недавно народившаяся гуманистическая философия никак не смягчила нравов. Перед смертью автор «Гаргантюа и Пантагрюэля» пробормотал, что он отправляется искать великое «быть может»... До Варфоломеевской ночи оставалось без малого двадцать лет.

Между тем в реальной истории нашей цивилизации было немало проектов, оперенных примерно теми же идеями, что родились в голове доброго сказочного короля Гаргантюа. Они появлялись и в баснословную античную эпоху, и в благочестивое Средневековье, и на волнах европейского Возрождения, и при свете разума эпохи Просвещения, и в трезвые прагматические времена победившей промышленной революции, когда первоначальный капитал уже был накоплен, и прибавочная стоимость желала быть реализованной. И даже в унылом равнинном пейзаже реального социализма нет-нет да и возникали призрачные стены Телемской обители.

В этом очерке мы попробуем вкратце проследить, чем кончались практические реализации Телемского проекта, которые предпринимались в разные эпохи, в разных странах, в разных масштабах и с разными целями. Мы выбрали несколько примеров, никак не связанных между собой исторически, но восходящих к неистребимой мечте о том, что новую жизнь можно утвердить в отдельно взятой местности целеустремленной и просвещенной волей, правильным отбором участников и, разумеется, адекватным финансированием. Вот эти проекты: **Платоновская академия Лоренцо Великолепного; Просвещенный двор герцога Карла-Августа Саксен-Веймарского; «Улей» – фаланстер для художников, выстроенный Анри Буше на окраине Парижа; Новосибирский академгородок.** Ну, и чуть-чуть о проекте Герцля – Ахад-ха-Ама.

Этот век – золотой век... И все это в нашей Флоренции

Лоренцо Медичи, прозванный *Il Magnifico* – Великолепный, – умер во Флоренции в 1492 году, за три года до рождения Рабле. Он правил Флоренцией, приняв власть формально от своих сограждан, но фактически получив ее из рук своего деда Козимо Медичи, стараниями и удачливостью которого Флоренция стала могущественной республикой, привольно раскинувшейся на плавных холмах Тосканы, подмяв под себя близлежащие города и коммуны. Удержать и приумножить наследство Козимо было не простой задачей, имея соседями воинственного герцога Миланского с севера, не менее воинственного короля Неаполитанского и алчного папу Сикста с юга и востока. К тому же, на горизонте маячили две морские республики, сколотившие свои богатства то ли торговлей, то ли пиратством, то ли хитроумно заключенными мирными договорами, а за альпийскими снежниками копили силы северные варвары – австрийские Габсбурги и французские Валуа.

Искусные флорентийские политические кулинары всегда умели вылавливать лакомые куски из кипящего варева апеннинской политики. Из многих городов средней Италии, высвободившихся из пут феодальных повинностей и проложивших путь к мануфактурному капитализму, Флоренция преуспела больше других в накоплении идей, людей и вещей. Местный флорин стал первой общеевропейской валютой. Флорентинцы Данте и Петрарка заставили остальную Италию мыслить и писать на тосканском диалекте. Флорентинцы Джотто и Учелло научили живописцев видеть окружающий мир в объеме и перспективе. И вот уже в первые десятилетия Кватроченто жители города на Арно, по крайней мере образованнейшие из них, считали свой город новым воплощением Афин, а свой век – новым Золотым веком. Сюда

стекались ученые греки, покидавшие гибнущую под напором турок-османов Византию. А в коллекциях местных любителей оседали античные древности, которыми в то время была до отказа нашпигована плодородная италийская почва.

Политика – дело грязное во все времена, и прекрасное Кватроченто ни в коей мере не является исключением из этого закона. К бесконечным политическим союзам, комплотам, грабительским походам под водительством наемных кондотьеров прибавлялись внутригородские заговоры менее удачливых против более успешных, еще не остывшие распри гвельфских и гибеллинских семейств, споры на ножах, как теперь говорят, хозяйствующих субъектов, заказные убийства на матримониальной почве... Но все это мельтешение и столкновение страстей замечательным образом сочеталось с обуревавшим флорентинцев неукротимым желанием возродить здесь и сейчас легендарное античное прошлое. Как они понимали место своего города в связи времен? Вот начало надписи, сочиненной на латыни первым поэтом Кватроченто Анджело Полициано для нанесения на надгробие Джотто: *«Я тот, через кого ожила угаснувшая живопись... [Ille ego sum...]»*. Не больше и не меньше.

Страстное стремление увидеть идеальный проект уже осуществленным заставляло принимать за реальность проектируемое будущее. Леонардо Бруни в похвальном слове Флоренции обрисовывал ее как город, в котором *«нет ничего беспорядочного, ничего неразумного и необоснованного»*, где *«каждая вещь имеет свое точно установленное и соответствующее ей место»* и где *«строго определены обязанности, законы и порядки»*. Несоответствие этой величественной картины реальным будням, войнам и праздникам города на Арно его нимало не смущало. Великие флорентийские архитекторы проектировали дворцы и соборы и строили их не слишком быстро, сообразовываясь с возможностями тогдашней строительной техники, но иногда и выходя за их пределы.

Вознесшийся над городом купол собора Санта Мария дель Фьоре – чудо позднеготического строительного гения – превзошел по размеру величайший купол имперских времен, накрывавший римский Пантеон. Новые храмы и дворцы были лишь отдельными вкраплениями в море рядовой городской застройки, но нетерпеливое воображение архитекторов и художников уже создало идеальный город-государство будущего, и они закрывали опостылевшие фасады домов, доставшихся им в наследство от «темных веков», временными щитами, изображавшими идеальную архитектуру.

Приезжие византийцы побудили Козимо, к тому времени получившего от сограждан заимствованный у древних римлян, но все же несколько странно звучащий титул «отца отечества» (*patriae pater*), устроить в родном городе Академию наподобие Платоновской в древних Афинах. Во главе ее встал Марсилио Фичино, доморощенный эллинист, переводчик Платона, сын домашнего врача семейства Медичи. Козимо самостоятельно определил последовательность отбора древнегреческих текстов, которой должен был придерживаться молодой Фичино в своих переводческих усилиях, с тем, чтобы платоновская мудрость укоренилась на тосканской почве. Афинянин Платон – философ, провозгласивший первенство умопостигаемых идеальных прообразов над эмпирическими наблюдениями – как нельзя более соответствовал умонастроению гуманистов, мечтавших здесь и сейчас, уже при своей жизни, «пока мы все еще молоды», увидеть воплощенного универсального человека, хозяина нового мира, задуманного и созданного его же собственными руками. Изучение трудов Платона под руководством греческих наставников молодые гуманисты непринужденно сочетали с практической деятельностью.

К примеру, Леон Батиста Альберти, незаконнорожденный отпрыск именитого флорентийского семейства, изгнанного по политическим мотивам из города еще в конце пре-

дыдущего века, человек многих дарований и извилистой жизненной траектории, с успехом применил свои способности в литературе, философии, географии, теории искусств, практическом зодчестве. Трактат «О семье», сочиненный двадцатилетним изгнанником, был замышлен как подношение отчизне предков, прославляющее почтенный род – «*мы, Альберти*». Альберти великолепным образом игнорирует реальные перипетии борьбы патрицианских и пополанских кланов, о которой мы можем прочесть в язвительной истории Флоренции, написанной Николо Макьявелли вскоре после краха республики Медичи. Исполненное римских доблестей и практических добродетелей «Семейство Альберти», о котором повествует Леон Батиста, в реальной Флоренции никогда не существовало. Реальные родичи бастарда, расселившиеся после изгнания по всей Европе, разобрали его замысел и труд как совершенно бесполезные. «*Мало кто заметил, никто не покупал...*» Но идеальная история сироты и отщепенца, увековечившего память могущественной купеческой династии, оказалась сильнее малопривлекательной реальности. Трактат читается и комментируется до наших дней. Альберти принадлежал к первому поколению гуманистов Кватроченто, собравшемуся под крылом Козимо Медичи. Его считают прототипом ренессансного «универсального человека». Открывшиеся перед ним возможности для литературной и практической деятельности Альберти использовал в полной мере. Его трактат «О живописи» содержит законченную теорию перспективы и классической композиции. Десятитомное сочинение «О зодчестве» стало библией ренессансной архитектуры, а его постройки во Флоренции и других городах Италии вдохновляли европейских архитекторов в течение последующих пяти веков. Купеческий сын Альберти был желанным гостем и советчиком при папском престоле и при всех княжеских дворах Италии, а в последние годы жизни он сблизился с кружком Лоренцо и Джулиа-

но Медичи, внуков Козимо, где его трактаты читались и изучались наравне с античными источниками.

Между тем флорентийская республика под управлением семьи Медичи неотвратимо превращалась в то, что на нынешнем политическом жаргоне эвфемистически называется «управляемая демократия». Медичи научились искусно манипулировать сложной системой выборного народовластия города-коммуны, так что власть из рук семейства не выпала и после кончины Козимо, хотя желающих перенять бразды правления во Флоренции было предостаточно. После недолгого, но весьма успешного правления его сына Пьеро «Подагрика» первыми лицами города-государства были признаны Лоренцо и Джулиано. Качества универсального человека были как бы разделены между двумя братьями.

Младший брат Джулиано – настоящий телемит, воплощение ренессансной юности, красавец, атлет, неприменный участник праздничных турниров-джостр. Его любовь к прекрасной чужеземке Симонетте Веспуччи – источник вдохновения для флорентийских поэтов и художников. Но при всем этом он всегда остается в тени старшего брата. Вислоносый Лоренцо невысок, слаб здоровьем, некрасив, лишен обоняния. Однако он искуснейший политик, дипломат, эрудированный гуманист и к тому же один из лучших поэтов эпохи. Дед с отцом видели в нем будущего правителя Флоренции еще со времени его отрочества.

Во время злосчастного заговора Пацци Джулиано был заколот в церкви, а Лоренцо с помощью друзей укрылся в ризнице и остался жив. Заговор нещадно подавили, но папа Сикст, стоявший за спиной заговорщиков, обрушился на Флоренцию, призвав в союзники короля Фердинанда Неаполитанского. Война была почти проиграна, однако Лоренцо сумел обратить безнадежную ситуацию на пользу себе и городу. Явившись в Неаполь практически безоружным, он сумел склонить Фердинанда на свою сторону. Лоренцо покорила короля

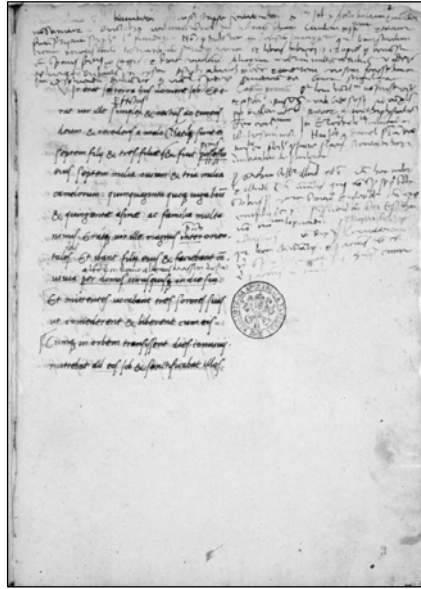
интеллектом, политической мудростью и широтой суждений. Неаполитанский властитель считал более полезным заручиться дружбой такого человека, нежели иметь его врагом. Лоренцо вернулся домой весной 1480 года с почетным миром, и власть его во Флоренции никем более не оспаривалась.

Запас энергии, аккумулированный Флоренцией за два столетия ее восхождения и расцвета, был огромен, и Лоренцо щедро и безоглядно расточал его в недолгие годы своего правления. Накопленные трудами нескольких поколений финансы банкирской семьи Медичи тратятся на приобретение античных редкостей и рукописей, хранилищем которых становится библиотека Лауренциана. Художники и скульпторы получают щедрые комиссии. Академия обретается на виллах Лоренцо в Поджо а Кайяно, Кареджи и Фьезоле, и Лоренцо участвует в ее собраниях не как сановный меценат, а как поэт – наравне со своим другом Анджело Полициано, спасшим ему жизнь в день заговора Пацци. Неоплатонический проект семейства Медичи вступает в свою вершинную фазу.

Среди множества праздников, карнавалов и турниров, заполняющих досуг жителей Флоренции, не последнее место занимает день рождения Платона – седьмое ноября. В этот день на одной из вилл Медичи Академия задает пышный пир. А в кабинете Марсилио Фичино, патриарха медицинского проекта, перед бюстом Платона теплится неугасимая лампада. Молодые люди необычайных художественных дарований и фантастического интеллекта во множестве появляются во Флоренции. Дивные полотна Боттичелли «Рождение Венеры», «Весна», «Венера и Марс» украшают интерьеры флорентийских вилл. В духе платоновских идей и с флорентийской исследовательской дерзостью художник ищет образ идеальной женской красоты, находит его в облике и характере Симонетты и воплощает в удивительных лицах Венеры и Примаверы, которые невозможно забыть, единожды увидев. Свои первые заказы получает от флорентинцев Лео-

нардо да Винчи, выучившийся ремеслу рисовальщика и живописца в мастерской Андреа Верроккьо на Новой рыночной площади. В скульптурной мастерской в садах Сан Марко, принадлежащих Медичи, начинает свою профессиональную жизнь юный Микеланджело Буанаротти, будущий соавтор Создателя по фрескам в Сикстинской капелле.

Во Флоренции после недолгой, но стремительной карьеры при папском дворе в Риме находит убежище Пико делла Мирандола. Этот молодой человек к двадцати трем годам овладел всеми классическими древними языками, включая иврит и арамейский. С их помощью он извлек квинтэссенцию из мудрости, накопленной античными философами, еврейскими учителями (в том числе каббалистами) и отцами Церкви, и сформулировал ее в девятистах тезисах, охватывающих полное познание Бога, мира и человека. Свои тезисы он был готов защищать на публичном диспуте против всех университетских авторитетов Европы. Диспут, однако, не состоялся, поскольку компетентные органы при папском престоле признали тринадцать тезисов из девятисот еретическими. Юный мудрец был вынужден искать убежища во Франции, но и там он не избежал недолгой отсидки. В конце концов, Лоренцо Медичи пригласил Пико в свободную Флоренцию, где тот стал деятельным членом Академии.



*Страница из Книги Иова с пометками
Пико делла Мирандола – книга из его
библиотеки, дошедшая до наших дней*

Праздник философии и изящных искусств был великолепен, но, увы, недолог. Политическое искусство Лоренцо, в отличие от поэтического, не имело власти над будущим (по грустному замечанию Павла Муратова). Его просвещенная тирания покоилась на зыбком основании. Враги режима притихли ненадолго, далеко не все жители Флоренции имели свою долю в празднике, а в городские ворота мог войти всякий, и некому было сказать: *«Идите мимо, лицемер, юрод...»*. В 1482 году во флорентийском монастыре Св. Марка появился доминиканский монах Джироламо Савонарола, по происхождению феррарец, как и Пико делла Мирандола. Монастырь этот с давних пор был предметом покровительства семьи Медичи, и при Лоренцо он по существу превратился в придворную обитель, жировавшую за счет вельможных банкиров. Образ жизни флорентийских телемитов никак не соответствовал уставу доминиканского ордена, чем суровый Савонарола был неприятно поражен. Он ощущал в себе пророческий дар, но был услан проповедовать в сельскую местность. Обратившись во Флоренцию его возвратили лишь через семь лет, кстати, по ходатайству Пико. Проповеди Савонаролы в монастырской церкви, обличавшие «тиранию» и призывавшие к христианскому смирению, уравнивающему всех перед Богом, падали на хорошо подготовленную почву. Лоренцо со всем его великолепием и могуществом ничего не мог с этим поделать. Монах вскоре стал настоятелем и говорил с амвона: *«Лоренцо должен знать: я здесь чужой, а он гражданин и первый в городе, и все же я останусь здесь, а он должен уйти...»*.

Устои Академии быстро размывались потоками мистического доминиканского красноречия. Под обаяние проповедника подпали и Фичино, и Пико, и другие участники платоновских пиров, разрушился прекрасный мир Сандро Боттичелли. Средневековые монастырские идеалы Савонаролы вытесняли из сознания граждан Флоренции недавно усво-

енные гуманистические принципы. Семейная подагра между тем подтачивала силы Лоренцо. 5 апреля 1492 года молния ударила в фонарь купола Санта Мария дель Фьоре, и Савонарола, конечно, усмотрел в грозовом разряде проявление гнева Божьего. Через три дня Лоренцо скончался. Непрочная власть его сына Пьетро была смыта через два с половиной года волной авантюрного вторжения в Италию армии короля французов Карла VIII. На руинах просвещенной тирании Медичи во Флоренции образовалась теократическая республика во главе с наместником Божьим Джироламо Савонаролой. В битве Карнавала и Поста последний одержал сокрушительную победу. На празднике «сожжения суеты», устроенном Савонаролой вместо традиционной зимней джостры, раскаявшийся город сжигал все, чему до того поклонялся. На костер волокли зеркала, музыкальные инструменты, косметику, книги Петрарки и Бокаччо, картины, еще недавно радовавшие глаз просвещенных горожан...

Откатная волна французского воинства, разбитого неаполитанцами, прокатилась по Италии с юга на север и окончательно подорвала экономическую систему, на которой покоилось могущество Флорентийской республики, а заодно и авторитет Савонаролы, почему-то видевшего в вояке Карле Валуа бич Господень, поднятый во имя обновления Церкви. Савонарола был низложен, отлучен от Церкви, повешен и для верности сожжен на площади Синьории. Жизнь продолжалась, но то, что возникло на руинах проекта Медичи, уже ни в какой степени не напоминало великолепную интеллектуальную конструкцию платоновских гуманистов. Республика просуществовала еще несколько смутных десятилетий и в конце концов превратилась в обыкновенное герцогство Тосканское. Свой герцогский титул побочные Медичи получили из рук римского папы Климента VII, тоже принадлежавшего к этому семейству.

Основатели и питомцы Академии покинули Флоренцию разными путями. Универсальные мыслители Фичино и Мирандола ненадолго пережили Лоренцо. Леонардо да Винчи еще за несколько лет до рокового французского вторжения был приглашен в Милан ко двору герцога Лодовико Сфорца. Возможно, тонкие неоплатонические материи, разрабатывавшиеся в окружении Лоренцо, были слишком прозрачны и непрочны для его хищного глазомера и мощного практического ума, и Леонардо решил, что он найдет точку опоры при миланском дворе. Но и рамки службы в качестве «герцогского живописца и инженера» оказались слишком тесны для флорентийского гения. Созданная им модель конной статуи основателя династии, удачливого кондотьера Франческо, превосходила по размерам все предшествующие, да и последующие сооружения этого рода. Пятиметровый глиняный колосс был выставлен на всеобщее обозрение, но отливка по модели не состоялась – заготовленную бронзу пустили на нужды начавшейся войны с французами, а модель была расстреляна удалыми французскими арбалетчиками, праздновавшими на городских улицах и площадях победу над миланским герцогом. Боевые возможности спроектированных Леонардо орудий нападения и защиты превосходили самое пламенное кондотьерское воображение, но эти орудия остались в чертежах и набросках.

Вдохновленный примером Альберти, который оставил потомкам энциклопедию зодчества, понимаемого как орудие материализации платоновских идеальных сущностей в камне, Леонардо начал фиксировать обуревавшие его идеи миростроительства в записных книжках, и этот процесс завел художника далеко. К концу долгой жизни в его голове сложилась целостная картина мира, в которой мерой вещей служил все тот же универсальный человек, а инструментами познания были его зрение и умение вычислить, запечатлеть и построить. Но, подобно девятистам тезисам Пико делла Мирандола, это

знание так и не стало достоянием тогдашнего человечества. Леонардо утратил интерес к практической реализации своих замыслов. Ослепительный интеллектуализм Леонардо и созданная им параллельная ноосфера остались зашифрованными в записных книжках и неосуществленных проектах, а нам достались для восхищения лишь побочные продукты его деятельности – Мона Лиза в Лувре и осыпающаяся «Тайная Вечера» на стене трапезной миланской церкви.

Жизнь Микеланджело Буонаротти, последнего из великих флорентинцев, протекала главным образом в Риме при папском дворе. В конце концов, именно ему выпало на долю воздвигнуть усыпальницу для династии флорентийских правителей. Папа Климент VII (незаконнорожденный сын Джулиано Медичи) заказал ему выстроить капеллу в ризнице церкви Сан Лоренцо. К тому времени после эпохи мессира Лоренцо прошла уже треть века. В капелле Медичи великолепные надгробия, на которых возлежат энигматические фигуры «Утро», «День», «Вечер» и «Ночь», накрывают Лоренцо и Джулиано Медичи. Но это не те два брата, на которых покушались заговорщики Пацци в роковое пасхальное утро 1478 года, а их заурядные потомки – дюк Урбинский и дюк Немурский. Настоящие Лоренцо и Джулиано были подхоронены к своим сиятельным наследникам лет через тридцать, и лежат они в скромном саркофаге при входе в капеллу. Микеланджело обустроил еще один памятник медицинской Флоренции – библиотеку Лауренциана, где собраны манускрипты и инкунабулы из коллекции платоновской академии Козимо. И в наши дни посетителей Лауренцианы встречает лестница, сооруженная по проекту Микеланджело. Эта лестница не приглашает вас в читальный зал, она негодуяще низвергается из него вам навстречу.

Язвительный и пристрастный летописец Флоренции, политонолог и политехнолог Николо Макьявелли пережил Лоренцо Великолепного на тридцать пять лет. Когда на склоне

жизни Макьявелли предложил свою кандидатуру на пост канцлера Флорентийской республики, члены Большого Совета подвергли его полной обструкции. *«Он сидел в трактире, хуже того – в библиотеке, читал старые книжонки. Не хотим философов!»* – восклицал один из почтенных магистратов при полном одобрении остальных. Завершил дискуссии представитель известнейшего пополанского семейства Альбицци, которое фигурирует на многих страницах «Истории Флоренции» Макиавелли. *«Отечество нуждается в людях благонадежных, а не в ученых»*, – отчеканил сей государственный муж, и на этом в истории золотого века Афин-на-Арно можно поставить точку.

Веймарская копия. Гуманисты и филистеры

Германии принадлежит одна из первых ролей в истории полутора последних столетий, и мы уже успели подзабыть, что еще 250 лет назад она представляла собой довольно жалкое явление на политической карте Европы – в сравнении, скажем, с английской и французской монархиями и даже с маленькой плоской Голландией. Исторически не состоявшаяся Священная Римская империя, испепеленная Тридцатилетней войной, в середине XVIII века имела вид лоскутного одеяла, наброшенного на земли между Рейном и Одером и безжалостно обкромсанного с краев более сильными соседями. Самыми крупными лоскутами были богатая Бавария и недавно выбравшаяся в большой мир из окраинных Бранденбургских болот и пустошей Пруссия. Пруссаки под водительством Фридриха Великого отчаянно бодались за жизненное пространство с монархией Габсбургов, корона которых блистала над прекрасной Веной. А все остальное – это мелкие королевства, курфюрстства, герцогства, маркграфства, ландграфства, епископства, аббатства, имперские города, образовывавшие причудливую политико-географи-

ческую мозаику. Некоторые из этих феодальных владений можно было неспешным шагом обойти за день-другой, но каждое из них имело властителя и двор при нем, воздвигало налоговые и таможенные барьеры и вело какую-никакую внутреннюю и внешнюю политику. В большем ничтожестве пребывала разве что Италия, еще раньше утратившая свое экономическое могущество и свою политическую независимость в междоусобных итальянских и междинастических европейских войнах.

Герцогство Саксен-Веймар ничем особенным не выделялось среди своих соседей. Плодородные земли в долине Ильма, Тюрингский лес на юго-западном горизонте, пара приличных городков – столичный Веймар и университетская Иена – все примерно так же, как у соседей из Саксен-Альтенбург или, допустим, Сакс-Кобург-Гота. В 1708 году при дворе местных князей появился молодой органист и сочинитель кантат по имени Иоганн-Себастьян Бах, искусство которого было высоко оценено тогдашним герцогом. Для него был даже перестроен орган в придворной капелле. Но через девять лет он покинул захолустный Веймар ради не менее захолустного Кётена, и музыка притихла.

В 1756 году восемнадцатилетний герцог Эрнст Саксен-Веймарский сочетался браком с племянницей Фридриха Великого Анной-Амалией, и это в общем-то рядовое междинастическое событие в конечном итоге радикально изменило и место Веймара в немецкой истории, и саму эту историю. Через год с небольшим герцог внезапно умер, оставив вдову с ребенком и в ожидании второго. Двадцатилетней молодой женщине пришлось принять на себя роль регентши при малолетнем наследнике Карле-Августе. Эту роль она достойно исполняла до его совершеннолетия, несмотря на пришедшую на первые годы ее регентства тяжкую для Германии Семилетнюю войну, которую не слишком удачно вел ее прославленный дядя против всех своих соседей. Музыкально

одаренная и высокообразованная герцогиня не только разумно управляла своим маленьким герцогством, но и приняла на себя роль покровительницы изящных искусств. Она свободно владела латынью и греческим, сама сочиняла музыкальные миниатюры и даже зингшпили, не забытые до наших дней. Великая герцогиня собрала замечательную библиотеку, пожалуй, сравнимую по качеству с Лауренцианой Медичи. Для библиотеки было выстроено элегантное здание в стиле рококо (пожар, случившийся в этом здании в сентябре 2004 года, нанес собранию Анны-Амалии большой ущерб, и понесенные потери оплакивает все культурное человечество). В качестве воспитателя к своему сыну она пригласила известного поэта и романиста Кристофа Виланда.

Идеи Просвещения, незадолго до того утвердившиеся в Париже, к этому времени достигли и провинциальной Германии. После экономической и культурной разрухи, затянувшейся на целый век, германское бюргерство под влиянием новейших французских идей робко начало подумывать, что, возможно, золотой век не позади, но впереди, и человеческому разуму достанет сил преодолеть невежество и предрассудки, определяющие убогое и бескрылое повседневное существование и власть имущих, и обывателей в клетушках микроскопических немецких государств. Как только в Германии появится достаточное количество разумно мыслящих людей – а это должно стать результатом просветительской деятельности идеологов бюргерства, – все изменится: падут «цепи» и настанет наконец золотой век и в Германии, и в Европе. В германской литературе и театре стали появляться фигуры общенационального масштаба – Готшед, Лессинг, Виланд. Эти литераторы сильно отличались друг от друга и по масштабу таланта, и по степени политической благонамеренности, но их сочинения, как чисто литературные, так и критические, выходили далеко за пределы регио-

нальной литературы и верноподданнической обывательской этики и эстетики.

Зерна умеренного Просвещения, занесенные в маленький Веймар герцогиней Анной-Амалией и представителем бюргерского патрициата Кристофом Виландом, принесли пышные плоды. Молодой кронпринц накануне восшествия на престол совершал поездку в Париж. По дороге он заехал во Франкфурт, где и свел знакомство с восходящей звездой немецкой литературы – Иоганном-Вольфгангом Гёте. Карл-Август пригласил его погостить в Веймаре. После коронации августейшее предложение было повторено, и 7 ноября 1775 года двадцатишестилетний Гёте прибыл в столичный город Веймар, как оказалось, навсегда. Вряд ли юный герцог имел в этот момент далеко идущие намерения относительно своего гостя. Гёте только что «проснулся знаменитым» после появления в печати своего первого романа «Страдания молодого Вертера», который, обливаясь слезами, прочла вся Европа, и Карл-Август не мог отказать себе в удовольствии украсить свой двор модной знаменитостью. Однако вскоре из блестящего компаньона по светским развлечениям и литературным беседам Гёте превратился в незаменимого советчика, и молодой герцог привлек его к управлению своим наследным государством, которое отныне должно было осуществляться в соответствии с принципами Разума. Вслед за Гёте в Веймаре появился Иоганн Гердер, знаменитый философ и критик, идеолог молодого литературного движения «Буря и натиск». Стараниями Гёте он получил чин генерального суперинтенданта. Теперь уже три ведущих деятеля германской культуры заняли государственные позиции при Веймарском дворе, и телемитское Просвещение получило свой шанс на берегах Ильма.

Штатс-министр Гёте, принявший от герцога должность, обыкновенно предназначавшуюся титулованным персонам,

поначалу с большим энтузиазмом погружается в государственные заботы, вникает в проблемы сельского хозяйства, горного и даже военного дела, предлагает разные полезные усовершенствования. Иоганн-Вольфганг Гёте, по-видимому, – единственный «универсальный человек» на всю Германию восемнадцатого столетия, в том смысле, как это понималось во времена Высокого Возрождения. Спектр его интеллектуальных интересов простирался от социологии и эстетики до минералогии и оптики, он проявил себя во всех тогдашних литературных жанрах, а его «Фауст» в такой же степени не поддается жанровому определению, как «Божественная Комедия» Данте. Подобно гуманистам XIV столетия, Гёте провозглашал практическую активность истинным предназначением креативной личности. Рукою доктора Фауста он внес поправку в евангельскую строку, изменив ее на: *«В начале было дело»*. Однако приниженный немецкий бюргер эпохи «Бури и натиска» лишь отдаленно напоминал свободного флорентийского пополана, да и умственные горизонты веймарского владетеля были куда как уже, а художественные вкусы куда как проще взглядов и пристрастий банкиров из дома Медичи. Все широкоформатные реформистские идеи Гёте проходили при герцогском дворе как бы через уменьшительное стекло, а куцые усовершенствования мало что изменили в жизни подданных Карла-Августа. Зато под руководством Гёте был выстроен новый герцогский дворец взамен сгоревшего при пожаре и спланирован парк при нем.

Эта постройка была осуществлена после возвращения Гёте из Италии. Его путешествие через Альпы вначале напоминало скорее бегство, чем паломничество. Участие в светских эскападах и скоропалительных проектах молодого герцога заметно снизило творческую продуктивность поэта в первое десятилетие жизни в Веймаре. Утомленный бесплодной придворной суетой, он отправился осенью 1786 года на

воды в Карлсбад, а оттуда, не предупредив никого, ускользнул в Мюнхен и через Бреннерский перевал переправился в Италию. Его целью был Рим, где обосновалась солидная колония немецких художников, археологов и просто просвещенных любителей искусств. Итальянские горизонты расширили и гармонизировали мироощущение поэта, но он обратился сразу к античности, минуя опыт культуртрегеров Ренессанса, хотя именно в поисках Возрождения он бежал *dahin, dahin* из своей холодной варварской Германии, и именно универсальным ренессансным человеком он стремился быть, да и был, конечно, с поправкой на эпоху и место. Прошло три с половиной столетия со времени первоначального изумления итальянских гуманистов перед открывшейся им сокровищницей античной мудрости. Флоренция уже давно впала в ничтожество. Рим был много раз перекопан, к имперским руинам пристраивались современные дворцы и хижины. Классицизм заслонил собой классику, прославленные итальянские пейзажи в глазах просвещенных ценителей существовали лишь в кулисах Клода Лоррена. Римские антикварные лавки были заполнены искусными подделками под извлеченные из развалин оригиналы. Философия, литература и изобразительные искусства Нового времени многократно переработали античные идеи и мотивы, а Пиранези и Винкельман инвентаризировали и откомментировали найденные сокровища. Можно сказать, что Гёте получил все эти антики из третьих рук, хотя природа и климат Римской Кампании были так же неотразимо привлекательны для взгляда северного варвара, как и во времена консулов и императоров.

Возвратившись из Италии с обновленной душой и с рукописью «Римских элегий» в багаже, Гёте нашел Веймар в прежнем состоянии: все те же буря и натиск на страницах литературных альманахов, все те же интриги и столкновения мелких интересов при герцогском дворе. Он постепенно от-

вел от себя почти все докучные государственные обязанности и сохранил лишь роль советника при уже не столь молодом герцоге. Гёте попытался скрестить античное с немецким в проекте обновления герцогского дворца и парка. Назвать этот опыт удачным можно, только совершенно изгнав из памяти итальянские оригиналы. И колонны попузатее, и ордеры поприземистее, и руины уж больно образцовые... Увы, Миньона мерзнет в Германии, и с этим ничего нельзя поделать.

С проектом реформирования придворного театра у Гёте получалось гораздо лучше, чем с программой отмены феодальных повинностей, улучшения агрикультуры и прививки итальянского духа в долине Ильма. Герцог сделал его директором веймарского театра. В начале своей веймарской жизни Гёте, подобно другим «штюрмерам», рассматривал театр как лабораторию по выращиванию полноценной немецкой личности из пришибленного бюргера – сначала на сцене, а потом, быть может, и в реальной жизни. По приглашению Гёте в Веймаре появился еще один великий реформатор немецкого театра – Фридрих Шиллер. В свое время его театральный дебют едва не вызвал революцию в герцогстве Вюртемберг – после премьеры пьесы «Разбойники», сочиненной никому не ведомым полковым лекарем, ее автор был вынужден бежать за ближайший рубеж, спасаясь от гнева местного самодержца Карла-Евгения. Бюргерская драма «Коварство и любовь» сделала Шиллера первым драматургом Германии.

Придворный театр – это, конечно, не Платоновская Академия, но на этой небольшой сцене Гёте и Шиллер произвели преобразования не менее значимые, чем когда-то флорентийские гуманисты на доверенной их инициативе арене дома Медичи. Гёте был истинным хозяином театрального дома – определял репертуар, воспитывал и патронировал актеров вплоть до того, что вводил их в аристократические салоны Веймара. Он озаботился и созданием проекта нового здания

театра. Когда холодной мартовской ночью 1825 года город был разбужен набатом и криками – театр горит! – и храм Мельпомены и Талии в одночасье превратился в груды головешек, оказалось, что у Гёте и его друга, придворного архитектора Кудрэ, имеются папки с детально разработанными строительными чертежами. Работы можно начать хоть завтра, и проект уже одобрен великим герцогом. Гёте написал для своего театра «Ифигению» и «Тассо», которые, впрочем, репертуарными так и не стали. Зато грандиозный «Валленштейн» Шиллера решительно изменил масштаб немецкой драматургии. Шиллер нашел своего героя – чешского дворянина, одного из запоздалых «мужей Ренессанса», кондотьера времен великого всеевропейского разбоя и разора Тридцатилетней войны. В представленном на Веймарской сцене историческом триптихе немецкая драма наконец-то заговорила языком, сравнимым с языком шекспировских Хроник. Гёте, впрочем, жаловался на отечественных театралов, что там, где вчера они восхищались Гамлетом, сегодня с не меньшим удовольствием смотрят «Штаберле»... Гёте с Шиллером строили театральную сцену для крошечного Веймара, а создали национальный театр для всей Германии. Теперь эти двое стоят на постаменте перед реставрированным после многих пожаров и войн зданием городского театра и держатся за один лавровый венок. Скульптор выровнял фигуры по росту, хотя Шиллер вроде бы был повыше своего театрального директора. И поныне при слове «Веймар» в мозгу среднеобразованного туриста возникает услужливая ассоциация: город Гёте и Шиллера.



*Фрагмент памятника Гёте и Шиллеру
перед городским театром в Веймаре*

Труды поэтов и философов, призванных Анной-Амалией и ее сыном в свое игрушечное герцогство, оказались не напрасными. Ко времени, когда Франция дозрела до Марсельезы, Веймар стяжал репутацию новых Афин-на-Ильме, стал культурным центром Германии и продолжал им оставаться, куда Гёте жил в своем обширном доме на Фрауэнплан. Как крупная планета искривляет движение комет в солнечной системе, он влиял на траектории перемещения культурных ценностей и их носителей по тогдашней Европе. Ученые, писатели, философы, сильные мира сего состояли в переписке с Гёте, слали новые экспонаты в его обширные коллекции и планировали свои маршруты так, чтобы посетить этот уголок Тюрингии, засвидетельствовать почтение герцогу и быть принятыми в доме статского советника.

История замысловатым образом повторяет свои сюжеты, и Веймар, как некогда Флоренцию, не миновало французское вторжение. Наполеон в доме Гёте не бывал, но после битвы при Иене дом на Фрауэнплан был избран для поста маршалом Ожеро и тем самым спасен от разграбления. По окончании победоносной кампании 1808 года император

французов собрал поверженных суверенов Европы на конгресс в Эрфурте. В один из дней он пригласил Гёте к себе для беседы, при которой присутствовали министры и маршалы Талейран, Бертье и Савари. Гёте считал Наполеона квинтэссенцией человечества и гордился тем, что в походной библиотечке императора имелся его «Вертер», испещренный пометками внимательного читателя. Император и сочинитель расстались, полные взаимного уважения.

Наполеоновские армии протекли через герцогство на восток, а потом откатились назад на запад. Веймар, оправившись от посто́я французов, а затем и их победителей, вернулся к своей размеренной провинциальной жизни. Гёте, однако, не спешил разделить энтузиазм своих сограждан по поводу освобождения от французского владычества. Он явно предпочитал реформатора Наполеона прусскому королю и затхлым порядкам, насаждаемым в послевоенной Германии. Влияние веймарского гения достигало главных столиц постнаполеоновской Европы. Вальтер Скотт состоял с Гёте в переписке. Байрон собирался посетить Веймар, но греческие дела отвлекли его от этого намерения. Впрочем, хладнокровный победитель Наполеона герцог Веллингтон, остановившись в Веймаре проездом в Петербург, и не подумал нанести визит на Фрауэнплан. Гёте узнал о вчерашнем постояльце городской гостиницы на следующее утро от своего секретаря Эккермана, который столкнулся с англичанином у гостиничных ворот.

Предыстория Веймара вплоть до культурной инициативы Анны-Амалии и Карла-Августа не представляет особого интереса. В сущности, проект, о котором мы рассказываем, по современным меркам имел очень скромные масштабы: властитель захолустного княжества со столицей, население которой не достигало и шести тысяч человек, пригласил к своему двору несколько деятелей культуры и взял их на казенный кошт. Но даже если бы результатом этого проекта было

только создание «Фауста» и «Валленштейна», Веймар и его просвещенный герцог навсегда остались бы в летописи европейской культуры наряду с Афинами и Флоренцией. Однако круги от золотого века Веймарского классицизма разошлись на удивление далеко. Местный университет в Иене стал центром немецкой философии. Его профессорами были Фихте, Гегель и Шеллинг. Небезызвестный Карл Маркс получил здесь свою степень *doctor in absentia* в 1841 году. Ницше в незаконченной автобиографии счел нужным отметить свою веймарскую генеалогию: его бабушка принадлежала к кругу Шиллера – Гёте в Веймаре, а ее брат унаследовал место Гердера на посту суперинтенданта. Лист приезжал в Веймар за вдохновением, в театре Гёте ставились оперы Вагнера. В XX веке мировую известность получила местная школа прикладного искусства. Она превратилась в Баухаус, колыбель нового направления в архитектуре и дизайне, разработанного в Германии между двумя мировыми войнами и так живописно привившегося на тель-авивских дюнах трудами Эриха Мендельсона, Арье Шарона, Шмуэля Местечкина и других приверженцев «интернационального стиля».

Скептик и насмешник Гёте не слишком обольщался насчет реального влияния своего просветительства на окружающую действительность. «Все великое и разумное пребывает в меньшинстве», – как-то обронил он в беседе с Эккерманом. Двадцатый век убедительно подтвердил эту мрачную максиму. Никем не предвиденная мировая война, которую спустил с цепи сараевский студент Гаврило Принцип, за несколько лет обесценила все культурные достижения двух предыдущих столетий и в очередной раз повергла Германию в руины. Хрупкий послевоенный немецкий порядок был конституирован не где-нибудь, а именно в Веймаре. Все в том же городском театре в 1919 году заседало Конституционное собрание, попытавшееся установить первый в истории Германии демократический строй. Судьба Веймарской рес-

публики, как все мы знаем, была печальной. В полном соответствии с ее демократическими установлениями к власти в стране пришли такие силы, которые не могли привидеться сочинителю «Вальпургиевой ночи» и в страшном сне.

Как всё это могло случиться с народом Гёте и Шиллера? – испуганно и недоуменно вопрошали друг друга будущие жертвы тысячелетнего Рейха. Увы, немцы были всего лишь народом, среди которого проживали Гёте и Шиллер... Впрочем, новые хозяева Германии тоже не остались равнодушны к ауре этих мест. Гитлер обожал произносить речи с балкона импозантного отеля «Элефант» на главной городской площади, да и при выборе площадки для одного из своих концентрационных лагерей он проявил отменный вкус. С вершины холма Эттерсберг – любимого места пеших прогулок Иоганна-Вольфганга Гёте – бараки Бухенвальда видны как на ладони.

Фаланстер папаши Буше

Отыскать это странное сооружение в нынешнем Париже, расплывшемся вширь и разросшемся ввысь, не так-то просто. На окраине города, в XIV округе, где-то между нескончаемой улицей Вожирар и уютным парком Жоржа Брассанса, расположен короткий проулок *Rue Danzig*. Еще несколько десятилетий назад улица Данциг была тупиком, упиравшимся в окружную железную дорогу. Не без труда отыскав вход в эту улочку, вы увидите по обе ее стороны ничем не примечательную шести-семиэтажную застройку, преимущественно послевоенную. Если вы точно знаете, что хотите найти, то пройдя сотню метров по правой стороне, остановитесь перед каменной стеной с наглухо закрытыми воротами, за которыми угадывается что-то вроде крошечного парка, зажатого между высокими домами. На воротах табличка: *Domaine privé* – частное владение. Сквозь кованые решетки можно разглядеть запущенную аллею, которая

ведет к странному трехэтажному сооружению типа ротонды с большими окнами и необычной черепичной крышей, по форме напоминающей навершие буддийской пагоды. Вход охраняет пара козлоногих статуй *à la Greque*. Еще какие-то исчербленные временем каменные фигуры прорастают из нестриженной травы по бокам аллейки. Тихо. Трудно определить, населена ли эта обитель. Вы находитесь перед воротами легендарного «Улья» – *La Ruche*.

Название «Улей» этому сооружению присвоили его первые обитатели и их гости за его восьмигранную форму и высокую китайскую шапку, а в речах на церемонии официального открытия ораторы называли его «виллой Медичи», добавляя в скобках: «для бедных». Открытие состоялось в



Один из уголков «Улья» на Монпарнасе. Фото 1980-х гг.

1902 году под звуки «Марсельезы» в присутствии заместителя госсекретаря по искусству и роты республиканских гвардейцев в полной парадной форме. Но в действительности новоявленная вилла Медичи обязана своим возникновением исключительно частной инициативе. Альфред Буше, преуспевающий академический ваятель, заработал изрядную сумму, удачно исполнив в мраморе бюсты короля Румынии и его супруги. Дело было еще в 1895 году, в пасторальные времена, когда урбанизация южных окраин Парижа только начиналась. В солнечный весенний день Буше завтракал в кабачке «Данциг», из окон которого открывался вид на просторный участок, засаженный роскошными деревьями. Этот симпатичный пустырь, раскинувшийся между окружной железной дорогой, бойнями Вожирар и штрафной транспортной стоянкой, принадлежал хозяину заведения. Находясь в размягченном состоянии духа по случаю получения огромного гонорара, Буше неожиданно для самого себя купил у хозяина этот пустырь по сходной цене – один франк за один квадратный метр.

Альфред Буше был усерден в ваянии, но не слишком одарен. Он успешно освоил ремесло портретиста по каррарскому мрамору и в этом качестве приобрел популярность в парижском свете. Однако Буше не обольщался на свой счет – его кумиром в искусстве был Огюст Роден, у которого заказчиков в те годы было гораздо меньше. В свое время Буше привел в студию Родена талантливую ученицу Камиль Клодель, сестру знаменитого поэта Поля Клоделя. История взаимоотношений Камиль и Родена вошла в парижский фольклор и сама стала сюжетом для литературы и кино. Посредственный скульптор Альфред Буше был добр и щедр. Он совершил еще один судьбоносный поступок, устроив на купленном по случаю участке приют для художников, который полностью подпадает под устав Телемской обители, составленный Гаргантюа и монахом Жаном еще во времена короля

Франциска, покровителя Леонардо да Винчи. Проект Буше принял законченную форму после закрытия Всемирной парижской выставки 1900 года. При распродаже выставочного реквизита Буше приобрел ротонду павильона винодельчества. Эта ротонда была спроектирована создателем знаменитой башни Гюставом Эйфелем. Сборные металлические конструкции Буше перевез в тупик Данциг и установил у входа на свою территорию. Ротонду разгородили на двадцать четыре треугольных студии и окружили домиками, предназначенными для семейных художников и скульпторов и изготовленными из материалов той же выставки. Навесили изящные кованые ворота, отгораживавшие участок от улицы. Козлоногие кариатиды, установленные у входа в ротонду, были сняты с павильона Индонезии. На дальнем краю участка возвышался просторный ангар с театральным залом на триста человек, выставочными залами и «академией», где можно было рисовать, пользуясь услугами натурщиков. Нормальное положение ворот – открытое. Жилье предоставлялось любому художнику вне зависимости от его гражданства, социального положения и имущественного ценза. Плата за мастерскую было чисто символической и взималась не слишком усердно – заведение существовало за счет румынского короля. Зато правило *делай, что хочешь* соблюдалось неукоснительно.

Кто же были эти новые телемиты – первые обитатели «Улья»? «Молодые, свободные, происходящие от добрых родителей?» Молодые – несомненно. Свободные – именно в поисках свободы они в большинстве своем явились в Париж, как правило, сбежав от добрых родителей и лишь в редких случаях получив от них благословение вместе с кое-какой материальной поддержкой. По большей части они прибыли на парижские вокзалы *Gar du Nord* и *Gar de l'Est* из Восточной Европы – Польши, Румынии, российской черты оседлости. Фамилии их царапали французский слух: Цадкин, Лип-

шиц, Шварц, Мещанинов, Эпштейн, Шагал, Шапиро, Кремль, Кикоин, Коган, Инденбаум, Сутин, Добрински... Всех этих молодых людей притягивала в Париж его магнетическая слава места, где только и можно стать подлинным мастером, научиться проникать туда, где художнику открывается другая сторона вещей, имеющая лишь отдаленное отношение к плоскому правдоподобию академической или натуральной школы. Немногие французы – Фернан Леже, Габриэль Вуазен, – затесавшиеся в эту компанию, выглядели в ней иностранцами...

«Дело гения и работа целого народа ремесленников одинаково возможны лишь при наличии колоссального накопления энергии. В одном случае она сжигается в ослепительной молнии, в другом – сгорает на тихом огне бесчисленных очагов. Важно заметить, что в обоих случаях происходит трата того запаса душевных сил, который был накоплен предшествующими эпохами».

Это утверждение было высказано Павлом Муратовым, чтобы объяснить взлет флорентийского Кватроченто. Но оно применимо и к истории постепенного превращения Парижа из неуютной столицы плохо устроенного королевства (*«А далеко на севере – в Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь идет и ветер дует. – А нам какое дело?»*) в место, через которое проходит мировая ось и где теперь располагается мифологический Парнас. Место это так и называлось – *Montparnasse*.

Давно миновали времена, когда пораженный искусством итальянских мастеров король Франциск Валуа вывез из Милана в свою тогда еще неотесанную Францию «Джоконду», попытался прихватить «Тайную вечерю» вместе со стеной, на которой она была написана, а убедившись в технической невыполнимости своей затеи, пригласил к своему двору престарелого мессира Леонардо, автора этих шедевров. В течение последующих трех веков капризные музы одна за другой

перебирались в Париж, и к середине XIX столетия французская столица прочно утвердилась в статусе законодательницы в области изящных искусств. Потенциал, накопленный за четыреста лет мастерами Ренессанаса, маньеризма и барокко, классицистами, романтиками и реалистами, разрядился перманентной художественной революцией. Ее ареной стал Париж времен Второй империи и Третьей республики.

После явления городу и миру импрессионистов каждое следующее десятилетие предлагало новые способы анатомирования трехмерной и семицветной реальности. Эта революция, затеянная французами, постепенно превратилась в международное занятие. В начале XX века ее возглавил испанец Пабло Пикассо, а местом, где поэты, художники и скульпторы квартировали, работали и ходили друг к другу в гости, был высокий холм Монмартр на северной окраине Парижа. С вершины Монмартра от недавно воздвигнутой церкви Сакре-Кёр прекрасно была видна противоположная, южная окраина города – полусельская местность, начинавшаяся почти сразу за университетскими кварталами Левого берега и монастырем Валь де Грас. Название Монпарнас – гора Парнас – этому довольно плоскому месту присвоили еще в середине предыдущего доиндустриального столетия студенты Сорбонны, гулявшие со своими подружками в каменоломнях, оставшихся там со средних веков. Литераторы начали обживать эту окраину уже в посленаполеоновскую эпоху – Шатобриан, Гюго, Бальзак, затем Ален-Фурнье, Рембо... А ближе к концу XIX века там стали появляться и художники, причем такие разные, как диссидент Гоген, прилежный пейзажист голландец Йонкинд и столп академического стиля Бугро.

Началом эпохи, сделавшей Монпарнас мировым центром искусств, принято считать 1905 год. В этом году был наконец достроен бульвар Распай. Заставленный солидными буржуазными зданиями в семь-восемь этажей, он протянул-

ся от Бурбонского дворца на берегу Сены до окраинной «Адской улицы» (современная Данфер-Рошро). Через несколько лет район, в котором многоэтажная застройка имела вид каменных островков в зеленом море садов и огородов, окончательно приобрел облик большого города. Бывшие каретные сараи, ангары и склады прекрасно подходили для художественных мастерских и студий. Как бы повинувшись внезапному поветрию, художники стали один за другим переселяться с перенасыщенного легендами Монмартра в эти новые земли. «Улей» папаши Буше дождался своего звездного часа.

В новое обиталище муз хлынули не только бывшие жители Монмартра, но и паломники со всех концов Европы и даже из заморских стран – Японии, Мексики, Чили... Центром их жизни на новом месте стал перекресток бульваров Распай и Монпарнас, на двух углах которого располагались два знаменитых кафе: «Ротонда» и «Дом». Не менее известное заведение «Куполь» находилось в нескольких сотнях шагов от этого перекрестка, а популярное среди литераторов «Клозри де Лиля» – в паре кварталов к востоку по бульвару Монпарнас. Выходцы из стран Восточной Европы не очень подходили под литературное определение «богема», вошедшее в обиход еще во времена Мюрге и закрепленное в оперной традиции. Это были очень простые люди, безъязычные и безденежные, как правило, не имевшие полноценного вида на жительство. Париж для них был чужд и непонятен, любой полицейский или чиновник опасен. Сойдя с поезда на перрон Северного или Восточного вокзала, они устремлялись со своими скудными пожитками по тем адресам, которые получали от соотечественников, прибывших в столицу мира несколькими месяцами или годами раньше. И адресок на улице Данциг был одним из самых популярных среди этих нищих эмигрантов. Они держались друг друга и вечера проводили тоже среди своих, пугливо группируясь в

«Доме» или «Ротонде». Порог «Клозри де Лиля», где собирались известные поэты, писатели и художники «с именами», перебравшиеся с Монмартра, они поначалу переступить не решились. Но случилось так, что именно нищие обитатели «Улья», Телемского монастыря, воздвигнутого на Монпарнасе, – Сутин, Шагал, Модильяни, Цадкин и их друзья, – составили основное ядро Парижской школы, прославившей эти места.

На «вилле Медичи для бедных» не было ни газа, ни водопровода, ни электричества. Сквозь щели в высоких окнах задувал ледяной зимний ветер, и выжить в холодное время можно было, только натопив самодельную печку и натянув на себя весь скудный гардероб. Но если ты приехал в Париж с твердым намерением стать настоящим художником и занимаешь треугольную студию по соседству с Шагалом и Модильяни, то эти мелочи не слишком отягощают твоё существование. Легкомысленные обитатели «Улья» голодали, но не унывали. Они посещали без особенной для себя пользы многочисленные художественные «академии», учились у великих мастеров в Лувре, изображали на своих холстах друг друга, своих подружек, приятелей, маршанов, интерьеры кафе, в которых проводили большую часть жизни, – и из этого непритязательного материала рождалась великая Парижская школа. «Улей» был настоящим плавильным котлом, в котором разношерстные эмигранты постепенно превращались в мастеров... или бесследно растворялись в едкой среде парижского дна. Здесь никто никого ни к чему не принуждал, и каждый сам искал свой стиль и путь к успеху, естественно, интересуясь, что там вырисовывается или вылепливается у соседа.

Патрон заведения Альфред Буше изредка совершал пастырские визиты, а в ротонде, увенчанной китайской шапкой, и в кафе «Данциг» стали появляться именитые парижские поэты – Сандрар, Аполлинер, Жакоб. Они посещали Марка

Шагала. «Улей» постепенно становился неотъемлемой частью того самого «*праздника, который всегда с тобой*». Конечно, «Улей» был не единственным обиталищем художников в XIV округе. Художники селились и на улице Фальгьер, и в кварталах, прилегающих к авеню дю Мэн, перебирались с одной дешевой квартиры на другую, выставяемые хозяевами, уставшими ждать плату за жилье. Но дух коммуны сильно отличается от запаха ночлежки, и потому именно «Улей» стал символом первых лет нарождавшейся Парижской школы.

Как и в остальных телемских историях, в веселый монастырь нагрянула война со своим уставом. С ее первыми залпами безнациональное монпарнасское братство одержимых искусством молодых людей разделилось по паспортному признаку. Граждане стран «оси», находившихся в состоянии войны с Францией, должны были покинуть Париж. Те немногие, кто успел обзавестись французским паспортом, вместе с коренными французами шли в армию, иные записывались добровольцами. В столицу нахлынули семьи, эвакуированные из фронтовой полосы. «Улей» превратился в пристанище беженцев из Шампани. Они порубили на дрова деревья, понастроили в парке подсобки и укрытия, на газонах развели огороды. Следить за порядком и охранять имущество, оставленное художниками в своих студиях, было некому. Начиная с 1916 года художники и поэты стали возвращаться на Монпарнас, кто раненый, кто демобилизованный по состоянию здоровья. Те, кто уцелел в мясорубке мировой войны, снова заполнили знаменитые кафе на бульварах, но «Улей» от потрясений войны так и не оправился. Альфред Буше постарел, его клиенты остались в довоенной *La Belle Epoque*. А сам он бродил, как призрак ушедшего времени, по запущенным аллеям своего маленького рая, бессильный противостоять его упадку.

После войны в Париж приплыли «большие деньги». Американцы хлынули в разоренную войной Европу. Унизительный курс франка по отношению к доллару позволял чувствовать себя в Париже Асторами и Морганам даже случайным туристам средне-теннессийского достатка. Послевоенное поколение лихорадочно наверстывало упущенное за четыре окопных года. Холсты, по несколько лет пылившиеся в мастерских художников и на стеллажах маршанов, теперь продавались «на ура». Искусство окончательно отказалось от довоенных принципов и предрассудков, и Парижская школа расцвела на расчищенном поле. Художники на короткий срок стали королями рынка. За столиками монпарнасских кафе посетители обсуждали не политику, футбол и скачки, а супрематизм и дадаизм на смеси языков, в которой французский был едва различим. Недавние бедолаги с сомнительными документами и неопределенными художественными устремлениями стали мэтрами нового искусства, которое стремительно несло вперед, сжигая за собой мосты. Перекресток Вавен, с которого все когда-то начиналось, стал в эти сумасшедшие годы центром притяжения для всех любителей и покупателей изящных искусств. «Улей» же остался на далекой периферии этого праздника жизни. Большинство его былых обитателей избегали мест, где они когда-то так живописно голодали. Кое-кто из «ветеранов» – в основном русские и поляки – продержались в «Улье» до середины 20-х годов, но наступившая новая эпоха диктовала совершенно иной стиль жизни, и один за другим бывшие телемиты переселялись в собственные студии в более респектабельных кварталах того же четырнадцатого округа.

Монпарнасская феерия окончилась в октябре 1929 года после оглушительного краха нью-йоркской биржи. Заокеанские туристы, филантропы и коллекционеры вернулись домой залечивать финансовые прототори, а художники и скульп-

торы остались выживать поодиночке. Вторая мировая война, нацистская оккупация и гестаповские облавы на евреев, скудная послевоенная жизнь – в результате всех этих перипетий «Улей» к 60-м годам превратился в утопающие в грязи окраинные трущобы. На его месте чуть было не возвели дешевые муниципальные дома, но историческая память все-таки не изменила парижанам, и в результате мощной кампании в прессе городок был спасен и снова превращен в художественные мастерские.

Однако на дворе теперь другая эпоха. От живописи более никто не ждет откровений. Монпарнас стал обычным парижским районом, а Париж – обычной европейской столицей, хотя и с легендарным прошлым, привлекающим паломников со всех концов света, вооруженных путеводителями и дигитальными камерами. Впрочем, *La Ruche* не входит в стандартные туристские маршруты. Кто теперь помнит папашу Буше, награжденного в 1925 году знаком Великого Командора ордена Почетного Легиона и похороненного через десять лет в провинциальном Экс-ле-Бэн? Но картины и рисунки, создававшиеся в холодных каморках «Улья», застыли на стенах музеев всего мира, легенды Монпарнаса преобразились в *belles-letters* в романах залетных американцев Хэмингуэя и Миллера, отразились в холодноватых и элегантных фото Ман Рэя и Андре Кёртеса, рассыпались по несчетному множеству мемуаров и монографий. Перекресток бульваров Распай и Монпарнас со станцией метро «Вавен» на углу теперь называется площадью Пикассо, короля Парижской школы, доведшего почти до полного самоуничтожения благородное умение изображать бесконечный трехмерный мир на плоской поверхности, ограниченной тонкой рамкой.

Академические выгородки

Пять с половиной столетий и несколько исторических эпох отделяют времена строительства виртуальной Телемской обители в долине Луары в соответствии с буйной фантазией Франсуа Рабле от времени основания реального Академгородка Сибирского отделения АН СССР на берегу рукотворного Обского моря, в соответствии с постановлением ЦК КПСС принятого какого-то там мая 1957 года от Рождества Христова и сорокового года от ночи Октябрьского переворота. Трудно себе представить менее подходящее место и время для реализации телемского проекта, чем Сибирь в эпоху развитого социализма в советской интерпретации. Однако городок был спроектирован и построен, его населили *«молодые, свободные, происходящие от добрых родителей»*. Они получили надлежащее образование и теперь рассеялись по всему миру.

Частная инициатива при советской власти, как известно, была уголовно наказуема, а уж о филантропии не могло быть и речи. Поэтому советский Телем возник в форме государственного проекта, хотя без «роли личностей» и в этом случае не обошлось. Проект был выношен и предложен на рассмотрение Центрального Комитета академиками Лаврентьевым, Соболевым и Христиановичем, прошедшими суровую школу войн и пятилеток. Решающую роль в его успехе сыграло то, что он был энергично поддержан тогдашним первым лицом в партийной иерархии Н.С. Хрущевым. Ходила байка, что Никита Сергеевич во время своих «кукурузных гастролей» по США увидел тамошние университетские кампусы и захотел устроить что-то подобное у себя. Может, в этой байке и есть какая-то доля истины, но постановление ЦК базировалось на более прочной основе – суровой экономической необходимости освоения баснословных богатств сибирского региона не с помощью гру-

бой силы и рабского труда заключенных ГУЛАГа, а с привлечением «научных методов», вера в которые в период оттепели получила повсеместное распространение и даже проникла за кремлевские стены.

До 1957 года все попытки концентрации научных кадров для решения каких-либо задач военно-государственной важности приводили к организации «ящиков» различной степени секретности и режимности, окруженных заборами и надежно замкнутыми воротами. Но чтобы попасть в новосибирский Академгородок, не нужно было запасаться пропусками-пропусками и протискиваться в узкие проходные мимо бдительных охранников. Туда можно было приехать из губернского города Н. на электричке, выйти на платформе Обское море, пройти сквозь негустой сосновый лес – и вы оказывались вблизи университетских общежитий и суперсовременного по тогдашним стандартам торгового центра, облицованного зачерненными стеклянными панелями. Таких супермаркетов в те времена и в столичных городах было не сыскать. Между тем, сам город Н. – Новосибирск конца 50-х годов – типичный советский областной центр, ужасный продукт сталинской индустриализации и военной эвакуации. Огромную территорию по обоим берегам Оби занимали гигантские заводы, главным образом военного назначения, зоны, обнесенные колючкой и расположенные в пределах пешего хода от парадного Красного проспекта и монументального Оперного театра, выстроенного в стиле раннего советского ампира, глубокие балки, по склонам которых лепились во много ярусов фантастические халупы. Преобладающий цвет – серый. Население, мягко говоря, смешанное. Суровые сибирские крестьяне, избы и огороды которых оказались в черте разросшегося города. Поселенцы времен первых пятилеток. Эвакуанты Великой Отечественной, воздвигшие гигантские оборонные предприятия с невинными названиями типа «Сибсельмаш» и работающие на них. Уроженцы центра страны, прибывшие по окончании вузов по распределению. Военные

всех мастей и званий. Зэки, освобожденные из не столь отдаленных отсюда мест заключения после отсидки как по уголовным, так и по политическим статьям. Ну, и так далее. Сияющий храм наук возводился на свободной территории между этим вот городом и райцентром Бердск, социальный срез населения которого я делать не берусь за неимением соответствующих инструментов. Место, где был забит первый колышек, спокон веку называлось Волчий Лог, но новые обитатели тут же переименовали его в Золотую Долину.

Студенты, заселившие новенькие университетские общаги, тоже слетались со всех концов империи – от юго-западной Одессы, где умникам с пятым пунктом не было ходу в университет на улице Петра Великого, до северо-восточной Якутии, где, наоборот, пятый пункт служил местным вундеркиндам пропуском в мир науки. Их встречали профессора и преподаватели, переехавшие в новый Академгородок из лучших институтов Москвы. Эти люди принадлежали к научной элите страны, и вновь образованные институты Сибирского отделения Академии наук предоставляли им возможности, невообразимые в столице, которая в то время страдала от «научного перенаселения». А общение с учителями в первые годы существования Академгородка происходило в лучших традициях научного братства и равенства всех перед лицом научной истины. Воспоминания об этих временах стали частью околонучного фольклора.

Главные магистрали Академгородка сходятся на манер трех Санкт-Петербургских лучей к одному фокусу, в котором располагается пятиэтажное здание Института ядерной физики. Его основателем и первым директором был Герш Ицкович Будкер. ИЯФ возник на базе лаборатории Будкера, выделенной из московского Института атомной энергии при полном одобрении и поддержке его директора И.В. Курчатова. Вместе с Будкером на новое место перебралась целая плеяда блестящих физиков и инженеров. Институт развивался, возникали новые научные направления, из университета

приходили подросшие студенты, но научное лидерство директора никем не подвергалось сомнению. И вот рассказывают, что как-то раз директор зашел в кабинет начальника одного из отделов, привлеченный громкоговорителем спором. Сотрудники орали у доски, отнимая друг у друга мел. Будкер послушал, послушал и тоже вмешался в обсуждение. Ему неохотно уступили мелок, и он начал выписывать формулы и приводить аргументы. Долго говорить ему не дали. К доске выскочил долговязый юноша – недавний выпускник университета, выхватил мелок из рук директора со словами: «Вы тут что за чушь порете? Вот как это должно быть!» – и начал покрывать директорские формулы своими. А тот следил за рассуждениями студента и бормотал расстроено: «Да, да. Спорил... Надо же, действительно чушь».

Директором другого научного заведения – Института радиотехники и электроники – был человек-легенда Юрий Борисович Румер. По возрасту он принадлежал к поколению, создавшему в советской России первоклассную науку почти на голом месте. Его сверстниками были нобелевские лауреаты И.Е. Тамм и Н.Н.Семенов, крупнейший математик П.С. Александров, знаменитый «Зубр» – Н.В. Тимофеев-Рессовский. (Удивительная история его жизни будет рассказана в очерке «Иоффе, Рентген и другие»). После многих житейских и научных пертурбаций на воле и в ссылке Румер оказался в Новосибирске, во вновь организованном Академгородке и студенты из его уст очевидца и непосредственного участника многих событий в России и Европе могли услышать такие подробности истории первой половины XX века, о которых в доступной в те годы литературе прочитать было невозможно.

Даже гуманитарный факультет («гумфак») в студенческом просторечье), профессора которого в основном относились к дооттепельному поколению, внес свой вклад в неповторимую атмосферу Городка. К примеру, среди преподавателей этого факультета числилась Лариса Богораз, а среди его студентов –

Вадим Делоне. Через несколько лет они были в составе горстки храбрецов, вышедшей на Красную площадь за нас за всех, чтобы возвысить голос против танкового вторжения в Прагу, раздавившего «социализм с человеческим лицом».

Конечно, Академгородок был организован в Золотой Долине для решения народохозяйственных задач, а вовсе не для насаждения свободомыслия. Однако, собрав тысячи молодых и талантливых людей на вновь осваиваемой территории и предоставив им практически неограниченные возможности для занятий наукой, не обремененной идеологией, организаторы и кураторы получили то, что должны были получить. В начале 60-х население Академгородка на 80% состояло из молодых людей в прекрасном возрасте от 18-ти до 35-ти. Каждый из них точно знал, что дело, которым он занимается, есть самое важное из всех возможных занятий, что задача, которую он сейчас решает, изменит картину мира, и что Золотая Долина есть центр этого мира. Глотнув свободы, хотя бы в форме ненаказуемой и даже поощряемой научной дерзости, эти ребята захотели пользоваться ею и в нерабочее время, умело игнорируя попытки партийно-комсомольских органов загнать их непрошенные инициативы в разрешенные стандартные рамки общественной работы и политпросвещения. К тому же на дворе стоял «поздний реабилитанс», и общество было взбаламучено тектоническими потрясениями XX съезда. Ребята искали и нашли способы проявить себя и за пределами научных лабораторий.

Из всех пилотных идей, возникших в эти годы в Академгородке, наибольшую известность и общественный резонанс получили кафе «Под интегралом» и хозрасчетная организация «Факел». Под «Интеграл» приспособили столовую Института гидродинамики. Стандартное строение местные дизайнеры оформили изнутри в стиле «рюсс» с легким западным (прибалтийским) акцентом. Входивший в это заведение оказывался в мире, живущем по законам, разительно отличающимся от железобетонных понятий, установленных на

одной шестой части суши нашими рулевыми. Свобода слова здесь означала возможность не только выйти к включенному микрофону с речью, не утвержденной предварительно



*Академгородок. Здание клуба-кафе «Под интегралом».
(Теперь в этом здании разместился банк)*



Мемориальная доска А. Галичу на здании клуба

старшими товарищами в комитете комсомола, но и услышать насмешливую критику с места. Свобода культурной инициативы – возможность увидеть на выставках, организованных под знаком «Интеграла», картины и скульптуры, которые на остальной территории страны еще лет пятнадцать-двадцать будут считаться художественной крамоллой, и аплодировать не изуродованным цензурой спектаклям самодеятельных театральных студий. Свобода информации – возможность покупать в магазине-клубе «Гренада» книги, которые в нормальной книготорговле до прилавков не добирались. «Гренада» к тому же присуждала собственные литературные премии без оглядки на официальную иерархию Союза писателей (например, полуопальным братьям Стругацким).

Венцом и одновременно концом кипучей деятельности клуба оказался фестиваль бардовской песни, организованный ко дню 8 марта 1968 года и посвященный десятилетию Академгородка и пятилетию «Интеграла». Лучшие барды страны собрались на этот фестиваль, а завершал его программу Александр Галич. Это было первое и единственное его «легальное» выступление на публике. Галич спел «Памяти Пастернака», «Мы похоронены где-то под Нарвой...» и «Балладу о прибавочной стоимости». Райком партии отреагировал мгновенно и «снял» Галича с конкурса. Это не помешало жюри единогласно присудить ему первый приз, и на заключительном концерте фестиваля Галич снова пел под стрекот камер двух кинохроник и под шорох магнитофонных лент. На закрытии фестиваля зал взялся за руки и исполнил хором «*Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке*», но это трогательное заклинание, конечно, не помогло, и в том же году клуб извели.

«Факел» возник при университетском комитете комсомола. Народ постоянно генерировал идеи, которые никак не вписывались в скудный бюджет Сибирского отделения АН и

суровые инструкции по его расходованию. Ребята рассудили, что если денег не дают, их надо заработать, применив имеющиеся в достатке головы и руки. Заключали хоздоговора, проводили исследования, а заработанные деньги использовали на проведение олимпиад, финансирование строительных проектов, спасение жителей в затопленной долине реки Каменки и многое другое. Разрабатывались и чисто научные проекты, причем нередко раньше и лучше, чем в институтах СО АН. Да и зарплату исполнители получали не по нищенской тарифной сетке, а в соответствии с реальным вкладом. Такая инициатива выглядела прямым вызовом идиотической экономической системе, да по сути им и была. Однако прихлопнуть «Факел» оказалось не так-то просто. Ребята работали абсолютно честно, перед комиссиями не робели, никаких нарушений «созаконности» компетентным органом выявить не удавалось, хоть и очень хотелось, а сеть запретительных подзаконных инструкций такую рыбку, как «научно-реализационное объединение», не улавливала. В конце концов, деятельность «Факела» все-таки парализовали, но идея осталась, и ее использовали следующие поколения студентов, пришедшие в НГУ в застойные годы, когда романтический дух первоначального Академгородка выветрился и осталась только его научно-прагматическая основа. Они все так же организовывали бригады, находили подрядчиков, исполняли работы, получали деньги, решали с их помощью свои житейские проблемы, но никаким факелом уже не размахивали.

Невозможно жить при реальном социализме и быть от него свободным. Мусорный ветер дул во всю силу, и к середине 70-х от прекрасных намерений и мечтаний первостроителей и первостудентов Золотой Долины мало что осталось. Блестящие основоположники старели и уходили. *«Уникальные люди с новыми идеями»* (определение М.А. Лаврентьева), выросшие в Академгородке и ставшие лидерами в своих областях, один за другим перебирались в столицу. Можно,

конечно, сказать, что задание партии и правительства по приросту научного потенциала страны Сибирское отделение в общем и целом выполнило. В его институтах было произведено внушительное число первоклассных работ по самым разным отраслям науки и техники, хотя многие прекрасные идеи, рожденные в Академгородке (в том числе и идея экономической реформы), так и остались нереализованными и от банкротства систему не спасли. К концу 80-х различия между новосибирским Академгородком и другими научными заповедниками СССР все более нивелировались, и тамошняя фундаментальная наука натерпелась в результате перестройки и сопутствовавшего ей ускорения распада не меньше, чем все остальные науки, не привязанные к магистральной трубе. Недавно предпоследний президент всея Руси постановил учредить в этих местах Силиконовую долину. Он видел что-то этакое на Западе и захотел устроить подобное у себя*.

Новосибирский Академгородок, по-видимому, уже слился с окружающей его действительностью. Но остались легенды и песни про странных людей, некогда заполнявших этот город. Да и сами эти люди никуда не делись, и теперь они населяют университетские кампусы всех пяти континентов. Судьбы у них разные, но почти никто из первых жителей Золотой Долины не занял хлебных мест ни в коммунистической, ни в нынешней иерархии. Зато они остались элитой в первоначальном смысле этого слова (*«отборные экземпляры, полученные в результате селекции и предназначенные для дальнейшего разведения»*). Я был странник на берегах Обского моря и никогда не живал подолгу в этом замечательном месте. Но я мгновенно опознаю сибирских телемитов в любой части света, потому что по-прежнему мысли у них поперек и слова поперек...

* Последний президент переместил этот проект в Подмосковье, поближе к Кремлю.

Эпилог, или Продолжение следует

Неоднократно мне доводилось выслушивать одну и ту же сентенцию от своих бывших сотоварищей по московско-питерскому интеллигентскому заповеднику. Сменив волею судеб или в силу свободного выбора Старый Свет на Новый, они прибывают оттуда в Израиль с краткосрочным визитом и после делятся своим разочарованием. Воображению пилигримов рисовалась маленькая страна, в которой улицы и рынки, университеты и офисы заполнены астеническими очкариками с интеллектуальными лицами и неизбывной еврейской печалью в очах. Однако, ступив на землю, заселенную избранным народом, они вынуждены пробираться сквозь толпы громко-голосых южных людей с раскованными манерами в сандалиях на босу ногу и портках, начинающихся в районе того места, где талия уже давно потеряла свое благородное название. Где же тут евреи? – спрашивают мои друзья, и когда я повожу рукой окрест, они хмурятся с неудовольствием.

А ведь сионистский проект начинался, как и положено уважаемому проекту, с построения теоретической конструкции и с отбора кадров. Как свидетельствует Зеев Жаботинский, воевавший в тех местах со своим Еврейским легионом в конце Первой мировой войны, *«всего их было тысяч пятьдесят. Когда вдруг повеет великий дух над малой общиной, получают иногда последствия, недалекие от чуда; в том, может быть, разгадка тайны Афин и того непостижимого столетия, которое породило и Перикла, и Сократа, и Софокла – в городишке с тридцатью тысячами свободных граждан. Я, конечно, не приравниваю ни талантов, ни значения; но по сумме чистого идеализма Палестина в те дни могла поспорить с каким угодно примером»*^{*}.

^{*} Жаботинский Владимир (Зеев). Повесть моих дней. Иерусалим, 1985. С. 229.

Проект обладал многими телемскими признаками. Вначале были частные инициативы, располагавшиеся в широких рамках между секулярной идеей «Альтнойланд» Герцля и соборной мечтой Ахад-ха-Ама об утверждении новой духовной общности евреев на старой земле Палестины. Имелись в достатке и еврейские финансисты, поддерживавшие поселенческие проекты. Бездна надежды малярийные болота осушались молодыми, свободными добровольцами – *халуцим*, отбравшимися из городских евреев стран Восточной Европы, то есть из наших дедушек и бабушек. Как всегда бывает у евреев, идей было много, желающих их осуществить, исказить или похоронить тоже хоть отбавляй. Для каждой из инициатив, даже для ничего не мелющей мельницы Монтефиоре, нашлось место на узенькой полоске Земли обетованной. В результате мы имеем окружающую нас действительность, не похожую ни на один из первоначальных проектов. Но если немного вознестись над нею, то может на секунду показаться, что вся история избранного народа – это один большой Телемский проект, запустить который на земле Кнаан было поручено Моше Рабейну...

Не знаю, можно ли извлечь какое-либо поучение из рассказанных здесь историй. Трудно даже отличить успешный Телемский проект от неуспешного. Как меланхолически заметил монах Жан по поводу загадки, высеченной на медной доске, которую заложили в фундамент Телемской обители, *«я вижу во всей этой истории только один смысл – описание игры в мяч, и притом довольно туманное»*. Но сама телемская идея, по-видимому, заложена в природе человека как общественного животного, судя по тому, что она проходит неразрывной блестящей нитью через всю историю цивилизованного человечества.

БУДАПЕШТСКИЕ «ПРИШЕЛЬЦЫ»*

*Только человек, родившийся в Будапеште,
может, войдя во вращающиеся двери
после вас, выйти из них первым.*

Джон фон Нейман

Давайте сделаем мысленный эксперимент: сотрем с глобуса маленькую точку – греческий город Афины, притулившийся на кончике Балканского полуострова, или позволим каким-нибудь безымянным северным варварам вторгнуться в Аттику году примерно в 500-м до новой эры и предать огню и мечу все, что понастроили там потомки Тесея, а оставшихся в живых афинян обратить в рабство. Чем это чревато для грядущей западной цивилизации? Она просто не возникнет в том виде, в каком мы ее знаем. Не будет ни философии, ни науки, ни Аполлона Бельведерского, ни флорентийского Ренессанса, ни колоннады храма Святого Петра, ни театра Расина и Мольера, ни Французской академии, ни Декларации прав человека... Потому что Перикл не создаст афинскую демократию, Фидий, Иктин и Калликрат не воздвигнут Парфенон, Мирон не изваяет «Дискобола», Сократ не вступит в диалоги со своими учениками, Платон не учредит Академию, Геродот не напишет «*Histories Apodeixis*», Аристофан не сочинит своих комедий, а Софокл и Еврипид – трагедий... Ведь все эти персонажи наших школьных учебников ходили по афинским улочкам и площадям о д н о в р е м е н н о, а человечество по сей день пожинает плоды трудов и досуга тех, кто жил в этом маленьком городке и его окрестностях (участок километров 15 в диаметре) в кратчайший исторический период длительностью всего 50 лет (480 – 430 гг. до н. э).

* Первая версия этого очерка, написанная совместно с В. Шапиро, была напечатана в еженедельнике «Вести-Окна» (Тель-Авив).

А теперь сделаем другой опыт. Возьмем венгерский город Будапешт и мысленно изымем из него VII округ – два-три десятка тихих кварталов, примыкающих к парку Варошлигет, у входа в который по обе стороны площади Героев красуются Музей изобразительных искусств и Художественная галерея, украшенные псевдоклассическими портиками. Изымем улицу Байза, пересекающую ее улицу Фашор и окрестные улочки с особняками, построенными на рубеже XIX и XX столетий, вместе с теми, кто в этих особняках проживал в период, скажем, с 1890 до 1920 год. Заметит ли человечество, чего оно при этом лишилось? Нам думается, что заметит. Неизвестно, кто станет создателем водородной бомбы вместо Эдмунда Теллера. Голография, возможно, станет русским изобретением, поскольку у компании «Бритиш Томсон-Хьюстон» не будет сотрудника-эмигранта по имени Денеш Габор. Енё Вигнер не напишет книги «Теория групп» и «Этюды о симметрии», определившие мироощущение нескольких поколений физиков-теоретиков, Янош фон Нейман не создаст теорию игр, лежащую в основе современного экономического и политического мышления, и электронная вычислительная машина не будет называться «машиной фон Неймана». А среди руководителей Манхэттенского проекта не будет удивительного человека по имени Лео Силард*.

Все эти великие ученые – почти ровесники. Самый старший, Силард, родился в 1898 году, Габор – в 1900 году. Енё Вигнер (1902) и Янош фон Нейман (1903) учились в одном классе. Самый младший из них – Теллер (1908). В детстве и юности они ходили по одним и тем же улицам Будапешта, второй столицы двуглавой Австро-Венгерской империи. Все

* В русскоязычной литературе укоренилась транскрипция «Сцилард», но мы будем писать эту фамилию так, как она звучит по-венгерски и в переводах на европейские языки.



Фрагмент плана Будапешта. В рамке – его VII округ

они покинули Будапешт, не завершив свое высшее образование. Габор и Вигнер стали нобелевскими лауреатами, двум младшим достались неофициальные, но, возможно, более весомые титулы «отца компьютеров» (фон Нейман) и «отца водородной бомбы» (Теллер). Что касается исторической роли, которую сыграл Силард, то мы почти уверены, что большинство читателей едва ли сможет сказать, в чем она, собственно, заключалась. Но тот же Эдвард Теллер в своей книге, названной им не без вызова «Лучше щит, чем меч», написал: «Убежден в том, что и один человек способен изменить ход истории. Моя книга посвящена памяти человека, который никогда не обладал властью и не стремился к ней, но стал родоначальником эпохи атома». Это сказано о Лео Силарде.

Два известных физика (Фридрих Хаутерманс и Леон Ледерман) не одновременно, но, по-видимому, независимо друг от друга в шутку предположили, что эти люди – «пришельцы из космоса, создавшие первую собственную базу на земле именно в Будапеште. Под видом венгерских

эмигрантов они разбрелись по всему свету, проникнув в первой половине XX века в лучшие университеты и исследовательские центры мира». Относительно деятельности космических визитеров в VII округе Будапешта мало-мало достоверная информация отсутствует, но зато известно, что родители будущих знаменитостей были преуспевающие будапештские инженеры или негоцианты, взявшие в жены девушек из «хорошего общества». Отец Габора был внуком еврея-эмигранта из России. Предки Силарда по отцовской линии пришли в Венгрию откуда-то с востока, из галицийских местечек, и его прадед был пастухом в предгорьях Карпат. Сходные генеалогии и у остальных великих ученых. Так что можно считать, что если вмешательство высших сил в эту историю и имело место, то оно произошло задолго до описываемой эпохи, и не в долине Дуная, а на холме Бейт-Эль и на горе Синай...

Будапешт в начале XX века – один из самых быстро развивающихся европейских городов. После объединения Буды и Пешта, многие века простоявших друг против друга по две стороны Дуная, в единый город и провозглашения его второй столицей Австро-Венгерской империи, он стал быстро застраиваться в том же имперском стиле, что и первая столица, Вена. Высвобожденные из-под многовекового политического пресса творческие возможности жителей Мезёфёльда, Альфёльда и Трансильвании реализовались в бурном развитии национальной промышленности и культуры. Здание парламента на набережной Дуная, построенное в подражание (и не без желания превзойти образец) британскому парламенту на берегу Темзы, элегантный Цепной мост, первый на европейском континенте метрополитен, ведущий к памятнику Тысячелетия, воздвигнутому в честь обретения мадярами своей новой европейской родины в результате великого переселения народов, – все эти сооружения появились в городе именно в ту эпоху. Технический университет готовил

специалистов по всем современным специальностям. Его выпускники быстро становились преуспевающими инженерами и предпринимателями, и многие из них покупали или строили себе особняки в VII округе, ставшем в эту эпоху фешенебельным. Будапештские евреи приняли во всех этих процессах активное участие. В большинстве они давно и успешно ассимилировались. Отец Лео, инженер-строитель Луис Шпиц, сменил фамилию, доставшуюся ему от деда-пастуха, на венгерскую – Силард (szilard по-венгерски значит «твердый»), фамилия банкира Макса Неймана обрела приставку «фон»...

Их дети, ровесники нового века, принадлежали к буржуазной элите, что называется, по праву рождения. В детстве они получали качественное домашнее образование, включавшее в себя знание основных европейских языков, и всё, что мог предоставить Будапешт талантливым и любознательным молодым людям, было в их распоряжении. Но вот тут-то и становилось ясно, что родиться в быстро развивающейся новой метрополии – это все-таки не то, что быть уроженцем Берлина, Парижа или Лондона. Все пятеро наших героев учились в первоклассных школах, дававших своим выпускникам базисные знания университетского уровня. Но... университета соответствующего класса в Будапеште, а значит и во всей Венгрии, не было. В обществе ценились практические знания, а фундаментальные науки, такие, как математика и физика, пользовались гораздо меньшим уважением. У выпускника физического или математического факультета наиболее реальной перспективой была профессия школьного учителя. В лучшем случае – в одной из тех самых привилегированных столичных школ.

Все наши герои были детьми необыкновенными. Янош фон Нейман в шесть лет перебрасывался с отцом остротами на древнегреческом, а в восемь освоил основы высшей математики. Школьник Денеш Габор повторял в домашней ла-

боратории, оборудованной для него и его брата родителями, опыты, о которых он читал в свежих номерах научных журналов. Лео Силард был душой большой компании, состоявшей из его брата, сестры и соседских детей. Эта компания обитала в огромной вилле Видор, спроектированной и построенной его дядей-архитектором. Лео непрерывно генерировал инженерные и научные проекты, которые осуществлялись руками остальных членов компании. Прочитав в десятилетнем возрасте поэму Имре Мадача «Человеческая трагедия», он был увлечен идеей спасения или хотя бы исправления мира. Судьба империй, республик и политических альянсов волновала подростка не менее, чем семейное благополучие и новейшие технические достижения, которые он, как и Габор, пытался реализовать в домашних условиях.

Ко времени окончания школы старшими из «пришельцев», Силардом и Габором, подошла к концу *La Belle Epoque* – недолгий период, когда западноевропейские государства не воевали (по крайней мере, друг с другом), технический и культурный прогресс обещал грядущее торжество разума, достижение социальной гармонии и всеобщее благополучие. После рокового выстрела в Сараеве началась совсем другая эпоха, положившая конец всем позитивистским иллюзиям XIX века. Как это всегда бывает, конец эпохи в первое время никто в «хорошем обществе» не заметил. Силард уже после начала войны, которую тогда еще никто не называл мировой, стал студентом инженерного факультета Технического университета и в сентябре 1917 года вступил добровольцем в армию Австро-Венгрии. Габор был призван в 1918 году. Оба они избежали окопной жизни, проведя почти все время на офицерских курсах. Габор все-таки получил назначение на итальянский фронт – за два месяца до окончания войны.

Военная страница биографии Силарда достойна медленного прочтения. После нескольких месяцев, проведенных в будапештской офицерской школе практически без отрыва от

родительского дома и университета, Лео оказался в лагере артиллерийского полка в Тирольских Альпах, где должен был завершить свое офицерское образование. В конце сентября 1918 года Лео почувствовал, что серьезно заболевает и, не желая валяться на койке в деревенской больничке, отпросился у командира на побывку в Будапешт. С диагнозом «испанка» он пролежал в армейском госпитале в будапештском пригороде до 6 ноября, обмениваясь с командиром галантными письмами. В последнем письме командир сообщал, что почти все товарищи Лео по курсам отправлены на итальянский фронт. За несколько дней до перемирия полк попал под итальянское наступление на реке Изонцо и был почти полностью уничтожен. 11 ноября война окончилась, и через три недели Лео, выйдя из госпиталя, вернулся к занятиям в Техническом университете.

В ноябре 1918 года Будапешт перестал быть украшением старинной имперской короны Габсбургов и превратился в столицу новоиспеченной нищей республики. Улицы города заполнили обозленные солдаты и офицеры, демобилизованные из армии, проигравшей войну, инфляция обратила накопленные состояния в ничто, государственные облигации более ни к чему не обязывали покойное государство, и вчерашние буржуа сравнялись по благосостоянию со вчерашними пролетариями. У них остались только особняки, которые нечем было обогревать. Пришла пора революций. К коммунистам и их вождю Беле Куну наши герои отнеслись по-разному. Лео Силард – с сочувствием. Вместе с братом, тезкой вождя венгерской революции, он даже создал Ассоциацию венгерских студентов-социалистов, просуществовавшую один день. Он полагал, что социализм может оказаться панацеей для излечения последствий участия Венгрии в мировой войне, и разработал новую систему налогообложения для будущего социалистического государства. Семейства Вигнеров и фон Нейманов предпочли переждать рево-

люционные события в Австрии, тоже ставшей республикой, но не поддавшейся иллюзиям коммунистического равенства и пролетарской справедливости. Габор усердно учился в Техническом университете. Теллеру было десять лет.

Революции, вспыхнувшие на развалинах Германской и Австро-Венгерской империй, догорели очень быстро, и монархия, реставрированная в усеченной Венгрии, оказалась весьма неблагосклонна к евреям, которые ко всему прочему активно участвовали в коммуне Белы Куна (тоже еврея). В сентябре 1919 года братья Силарды явились в Технический университет, чтобы вновь зарегистрироваться в качестве студентов, и были остановлены около входа группой молодых людей. Один из них заорал: «Вы не будете здесь учиться, вы евреи!». Лео вступил с ним в дискуссию и попытался продемонстрировать документ, удостоверяющий его кальвинистское вероисповедание (обретенное два месяца назад после победного вступления в Будапешт румынских войск). Молодчики, не говоря худого слова, спустили братьев с широкой мраморной лестницы. К тому же на Силардов было заведено дело, как на сочувствовавших коммунистам во время революции. С процентной нормой на иностранцев столкнулся и фон Нейман. Габора новоиспеченная монархия в 1920 году снова попыталась призвать в армию... В результате всех этих исторических событий Силард, Габор, фон Нейман и Вигнер к 1921 году оказались в Берлине. Теллер, завершив среднее образование в 1928 году, поступил во все тот же Технический университет, но через две недели перебрался в Германию на химический факультет Технического университета Карлсруэ. На этом история VII округа как питомника, в котором произрастали будущие научные гении, в общем и закончилась.

Силард, Габор и Вигнер в школьные годы испытывали сильную склонность к занятиям физикой, а Нейман и Теллер мечтали стать математиками. Тем не менее, все пятеро поступили на инженерные специальности. Родители настоя-

тельно рекомендовали каждому из них приобрести профессию, способную приносить реальный доход. Ни на физику, ни на математику в этом смысле надежд не возлагалось. Но в Берлине, который в 20-е годы, несмотря на поражение Германии и послевоенную разруху, оставался одной из интеллектуальных столиц западного мира, физика была в почете. В числе постоянных и приглашенных профессоров Берлинского университета были такие выдающиеся ученые, как Планк, родоначальник квантовой физики (нобелевский лауреат 1918 года), А. Эйнштейн, самый знаменитый физик того времени, да и, пожалуй, всех времен и народов (Нобелевская премия 1921 года), В. Нернст, открывший третий закон термодинамики (Нобелевская премия 1921 года), Ф. Хабер, предложивший процесс синтеза аммиака из азота и водорода (Нобелевская премия 1918 года), М. фон Лауэ, открывший дифракцию рентгеновских лучей в кристаллах (Нобелевская премия 1914 года), Дж. Франк, осуществивший совместно Г. Герцем эксперимент, доказывающий существование квантовых энергетических уровней в атоме (Нобелевская премия 1925 года).

Неудивительно, что Лео Силард вскоре перебрался на физический факультет этого университета. Лео не чувствовал себя робким провинциалом в столице современной физики. Он выбрал Макса фон Лауэ своим научным руководителем, а увлекшись статистической физикой, попросил Альберта Эйнштейна провести в течение семестра семинар по этому предмету для себя и нескольких своих друзей. Нетрудно догадаться, что этими друзьями были Вигнер, фон Нейман и Габор. Эйнштейн согласился, и последствия этого согласия для судеб человечества, как мы увидим ниже, трудно переоценить. Первым непосредственным результатом этого семинара был вывод, к которому пришел Силард к концу семестра: занятия темой по теории относительности, предложенной профессором фон Лауэ, – пустая трата времени.

Наступили рождественские каникулы 1921 года. В Будапешт, к семье, дорога была закрыта, поскольку из Венгрии Лео фактически бежал, причем по довольно сомнительным документам. Прогуливаясь по зимнему Тиргартену и проводя вечера в своей комнате на Гердерштрассе, он обдумал и написал работу по статистической физике, которую никак не решался показать своему профессору, поскольку к предложенной теме она не имела отношения. В конце концов, он попросил Эйнштейна выслушать его теорию. Эйнштейн слушал, не перебивая, а когда студент закончил, он сказал: «Это невозможно. Это нельзя доказать». – «Да, конечно, – ответил Силард, – но я сделал это». Ободренный реакцией Эйнштейна, он все же подошел после занятий к своему руководителю и вручил ему рукопись с извинением, что работа эта не вполне по предложенной теме. Фон Лауэ с усмешкой посмотрел на студента, но рукопись взял. Наутро в квартире Силарда раздался телефонный звонок. Профессор фон Лауэ коротко сообщил, что его рукопись принята в качестве докторской диссертации. В этой работе юноша решил проблему, возникшую в термодинамике в период ее становления в середине XIX века. Для объяснения необратимости переноса тепла от нагретого тела к охлажденному, в теорию тогда пришлось ввести микроскопических «демонов», которые открывают дверцы для движения одних молекул и закрывают их для других. Лео Силард изгнал из теории «демонов Максвелла» и сделал это математически строгим способом.

Путь его друзей к своему истинному призванию был несколько более длинным. Фон Нейман продолжал учиться на инженера-химика и завершил свое химическое образование в Высшей Технической школе Цюриха в 1926 году. Параллельно он не оставлял занятия математикой, тем более, что в Цюрихе в это время работали крупнейшие математики Вейль и Пойа (тоже уроженец Венгрии!). В результате он защитил вторую диссертацию, теперь уже по математике, в том же

1926 году, и к концу десятилетия обрел репутацию молодого математического гения. Вигнер добросовестно доучился в берлинском Техническом университете, получил степень инженера-химика и даже отработал год в качестве инженера на кожевенном предприятии, принадлежавшем его семье. Однако в 1926 году он получил письмо из берлинского Института кайзера Вильгельма с предложением места ассистента в лаборатории кристаллографии. Так кожевенная промышленность недосчиталась одного инженера, а физика приобрела ученого, сформулировавшего последовательную теорию симметрии физических систем (в математике она называется теорией групп) и заразившего «групповой лихорадкой» несколько поколений теоретиков. Габор получил докторскую степень по электротехнике в 1927 году, и вся его карьера протекала в электронных фирмах Германии, а затем Англии. Образование, полученное в Будапеште и Берлине, позволило ему, оставаясь практически инженером, выдвигать идеи, каждая из которых открывала новые горизонты в своей области техники. Одна из этих идей – принцип голографического изображения – обессмертила его имя. Теллер выбрал специальность инженера-химика, уже имея в качестве примера Вигнера и фон Неймана, которым был представлен отцом в момент окончания школы. Но и он, не окончив курса в Карлсруэ, обратился к теоретической физике, и свою докторскую диссертацию писал в Лейпциге под руководством В. Гайзенберга, одного из основоположников квантовой механики (именно Гайзенберг сформулировал знаменитый принцип квантово-механической неопределенности). Однако работа, сделавшая Теллеру имя в теоретической физике, посвящена структуре молекул, и эффект, описанный в этой работе (эффект Яна – Теллера), играет ключевую роль в современной квантовой химии. Между прочим, в основе эффекта Яна – Теллера лежит замечательная «теорема о пересечении квантовых уровней», сформулированная в работе фон Неймана и Вигнера, опубликованной в 1929 году.

Нацистская экспансия не оставила экспатрированным евреев места на европейском континенте. Габор поселился в Англии, а четверо остальных перебрались в Новый Свет. Первым это сделал фон Нейман. Еще в относительно спокойном 1929 году он был приглашен лектором в Принстонский университет. В следующем году в том же качестве в Принстоне появился Вигнер. Теллер прибыл в США в 1935 году, после нескольких лет, проведенных в Копенгагене в Институте Нильса Бора и в Лондоне. В Копенгагене он познакомился со своим ровесником, молодым, но уже знаменитым физиком-теоретиком, визитером из России Львом Ландау. Именно беседы с Ландау помогли ему найти обоснование механизма своего эффекта. А попасть в Америку Теллеру помог еще один русский – бывший ленинградец Георгий Гамов, университетский друг Льва Ландау, который пригласил его на работу в Вашингтонский университет. В 1938 году список эмигрировавших в Америку знаменитых физиков пополнился именем Лео Силарда. Через несколько лет пути четверых выходцев из VII округа вновь пересеклись. Все они оказались вовлечены в Манхэттенский проект – программу по созданию оружия, способного уничтожить или спасти цивилизацию. В народе это оружие не вполне правильно называется атомной бомбой (на самом деле она – ядерная).

В этом месте мы должны на минуту остановиться и перевести дух. То, что происходило с нашими героями в дальнейшем, описано во всех универсальных энциклопедиях и биографических справочниках, и нет смысла втискивать их великолепные биографии в тесное пространство очерка. Во всех справочных изданиях их имена звучат уже на английский манер: Деннис, Эдвард, Джон, Юджин... Только Лео остался Лео. С таким именем трудно что-нибудь поделать.

Шутка относительно космического происхождения пяти будапештских евреев до некоторой степени отражает непреходящее удивление, которое охватывает всякого, кто попы-

тается осмыслить тесно переплетенные биографии этих ученых. В фольклоре многих народов существует бродячий сюжет о братьях-богатырях, каждый из которых обладал каким-то совершенным умением в своей области. Один мог сковать меч, рассекавший любую кольчугу, другой – вырастить урожай, которого хватило бы для прокормления целого народа... Сказок про ученых народ не сочиняет, но пять наших героев кажутся персонажами такой сказки, жившими в далеко не сказочную эпоху. Джон фон Нейман – математик фантастического дарования, с равной легкостью выстроивший математический фундамент только что родившейся квантовой механики и изобретший вычислительную машину, чтобы решить заинтересовавшую его проблему турбулентности. Деннис Габор – идеальный инженер, изобретения которого приводили к возникновению новых областей техники. Юджин Вигнер – физик-теоретик, понимавший скрытую симметрию мира, как никто другой. Эдвард Теллер – человек, высвободивший разрушительную силу термоядерной реакции и научившийся ее контролировать. Так почему же Теллер утверждал, что именно Лео Силард изменил ход истории и стал родоначальником эпохи атома, и никто из остальных богатырей этого мнения не оспаривал?

В конце жизни Силард как-то обронил такое замечание: «Я предпочел бы иметь корни. Но если мне не дано иметь корни, то я хотел бы иметь крылья». Что ж, можно сказать, что крылья были ему дарованы. Будапешт – Берлин – Вена – Лондон – Нью-Йорк – Чикаго – Сан Диего: в этих городах он учился и работал. Но кроме того, он оказывался в нужном месте в нужное время, и в результате его мгновенного вмешательства ход исторических событий несколько менял свое направление. А еще он вел дискуссии с коллегами и друзьями, и из этих дискуссий рождались физические открытия и инженерные решения. Некоторые из них он запатентовал, а за все остальные – лавры достались другим. Существует та-

кой исторический, социальный и литературный феномен – «еврей при губернаторе». Возможно, Силарда назначил своим евреем Всевышний.

Вот еще несколько страниц из жизни Лео Силарда. Летом 1927 года Силард и Габор сидели в кафе и обсуждали политические и научные новости. Одной из последних таких новостей была электронная линза – обнаружилась возможность искривлять и фокусировать траектории электронов с помощью электрического поля. «Почему бы тебе не попробовать сделать микроскоп с помощью электронов?», – спросил Силард. Они некоторое время поиграли с этой идеей и сменили тему. Через четыре года Силард все-таки оформил ее в виде патента. В том же году, но несколькими месяцами позже Эрнст Руска построил первую модель электронного микроскопа (Нобелевская премия 1986 года). А для Габора электронная оптика стала основной специальностью, и работа над усовершенствованием электронной линзы в конце концов привела его к созданию голографии (Нобелевская премия 1971 года). Еще одна идея, которой была суждена долгая жизнь, была сформулирована Силардом в эти же годы. Он был первым, кто догадался о глубокой связи между информацией и энтропией и опубликовал об этом единственную статью в 1927 году. Через двадцать лет фон Нейман ввел эту идею в свою теорию информации, и сейчас, наверно, никто не возьмется подсчитать количество публикаций по информационному аспекту энтропии в математических, физических и биологических журналах.

Но между тем постоянной работы в Берлине у Силарда не было. В Институте кайзера Вильгельма он читал курс лекций по атомной физике и атомной химии, сотрудничал с Лизой Майтнер, работал в фирме AEG, вел научные семинары вместе с Вигнером и Э. Шрёдингером... и непрерывно генерировал идеи. Одной из таких идей был линейный ускоритель электронов (патент 1928 года), другой – циклотрон (па-

тент 1929 года). Циклотрон был вскоре построен Э. Лоуренсом в Беркли (Нобелевская премия 1939 года). В сотрудничестве с Эйнштейном Силард запатентовал идею электромагнитного насоса, который через тридцать лет стал основным элементом реакторов-размножителей (бридеров). Взаимодействие с Лизой Майтнер и чтение романа Герберта Уэллса «The World Set Free» заставило его задуматься о возможности высвобождения ядерной энергии. Он безошибочно оценил ключевую роль нейтронов, только что открытых Чедвиком в механизме ядерной реакции, и пришел к выводу о ее цепном характере (нейтрон, попавший в ядро, расщепит его, при этом выделится два нейтрона, каждый из которых, попав в ядро, расщепит его, при этом выделится четыре нейтрона, и т.д.). Идею цепной реакции он также запатентовал (1934 год).

А еще Лео Силард, в свободное от научных занятий время, составлял проект исправления и улучшения жизни своей новой родины – Германии, предоставившей ему гражданство в 1929 году. По складу своего ума и темпераменту Силард был приверженцем «элитарной демократии». Он верил в силу убеждения и преобразования действительности по правильно составленному проекту. Проект этот должен быть выработан молодой интеллектуальной элитой, широко образованной в технической и гуманитарной областях, способной к независимому мышлению, свободной от грехов прошлого, своекорыстия и предрассудков. Короче – Силардом и ему подобными. Эта элита должна составить что-то вроде «ордена интеллектуалов», члены которого посвятят себя всецело заботам по усовершенствованию общества и, может быть, даже примут обет безбрачия. Аналогия с Телемской обителью Рабле Лео Силарду в голову не пришла, и он дал своему проекту имя *Bund*, т.е. «Союз» в переводе с немецкого (по-видимому, о восточноевропейских евреях-социалистах, организовавших свой Бунд двадцатью годами раньше, он тоже не знал). С этой идеей Силард обратился к Эйнштейну,

с которым его связывала тесная дружба, зародившаяся во времена того самого семинара по статистической физике, и к Г.Н. Брэйлсфорду, лидеру английских социалистов. Пока все это придумывалось и обсуждалось, Веймарской республике пришел конец. Гитлер самым что ни на есть демократическим образом был избран в Рейхстаг, и вскоре Германия стала национал-социалистическим государством, в котором не только бундовцам, но и самым полезным евреям было отказано в праве на будущее. Идею цепной ядерной реакции безработный Лео Силард обдумывал, прогуливаясь по улицам лондонского района Блумсбери.

В свои тридцать пять лет Силард мог записать себе в актив три десятка патентов, несколько замечательных статей в научных журналах, блестящую профессиональную репутацию и близкое знакомство практически со всей научной элитой своего времени, глубокое знание классической и современной квантовой физики. Но никаких перспектив научной карьеры в Европе, кроме временных лекторских должностей (ставок почасовика, как сказали бы его советские коллеги), не просматривалось, и даже идея цепной ядерной реакции не вызвала энтузиазма у ведущих ядерщиков Англии. «Отправляйтесь в Россию, – сказал ему один из них, П. Блэккет, – тамощние власти предоставляют ученым любые деньги и ресурсы, а в Англии на это рассчитывать не приходится». Попутным результатом его не очень систематических исследований ядерных реакций стал «эффект Силарда – Чалмерса», давший полезный метод разделения медицинских изотопов (еще один патент!). Однако звездный час Лео Силарда наступил уже в Америке. Именно там он, наконец, оказался в правильном месте в решающий исторический момент. Этим местом стал Колумбийский университет в Нью-Йорке.

К началу 1939 года на восточном побережье США собрался весь цвет ядерной физики (за исключением немецких и советских ядерщиков). Вигнер и Теллер уже несколько лет

работали в Принстоне и Вашингтоне, из Копенгагена в Принстон прибыл Нильс Бор, а из Рима в Нью-Йорк – Энрико Ферми. Ферми начал свои эксперименты по ядерным превращениям примерно в одно время с Силардом. Но в то время, как Силард безуспешно пытался убедить коллег в возможности цепной реакции, Ферми в своей римской лаборатории систематически бомбардировал нейтронами все более тяжелые ядра и получал сотни новых изотопов. Его усилия увенчались Нобелевской премией 1938 года, но его жена была еврейкой, и после принятия Италией антисемитских законов новоиспеченный нобелевский лауреат покинул свою родину. При въезде в США Ферми, как и всем эмигрантам, пришлось пройти тест на проверку умственных способностей. Его попросили сложить 15 и 27 и разделить 29 на 2...

Силард совершенно отчетливо понимал все возможности, которые откроются после осуществления цепной реакции. Она может быть использована как для создания бомбы чудовищной силы, так и для получения практически неисчерпаемого источника энергии. Он также осознавал, что оставшиеся в нацистской Германии Гайзенберг, Хан и фон Лауэ вполне могут прийти к тем же выводам, тем более, что Хан был одним из тех, кто открыл эффект деления атомов урана. Именно этот элемент должен стать ядерным горючим. Силард все еще не имел работы, и все его попытки убедить своих более успешных коллег заняться этой проблемой не давали результатов. В конце концов, он явился к своему старому знакомому Бенджамину Лейбовицу, удачливому изобретателю, и попросил у него (взаймы!) денег, чтобы осуществить эксперимент с ураном. «Сколько?», – спросил Лейбовиц. «Ну, 2000 долларов было бы достаточно», – ответил Силард. Лейбовиц вынул чековую книжку, и, наверно, не будет преувеличением сказать, что эта небольшая сумма повернула мировую историю. Силард пригласил канадского экспериментатора Уолтера Зинна участвовать в проекте, и 3

марта 1939 года они поставили в Колумбийском университете успешный опыт по расщеплению урана, в котором была продемонстрирована возможность осуществления цепной ядерной реакции с размножением нейтронов. Поздно вечером, когда эксперимент был закончен и установка выключена, Силард позвонил в Вашингтон Теллеру. Эдвард в этот момент сидел за фортепиано и разыгрывал со своим приятелем-скрипачом дуэт Моцарта. Прервав Моцарта, Силард произнес по-венгерски одно предложение: «Я нашел нейтроны». И повесил трубку. Процесс, как говорится, пошел, и остановить его никому не дано.

Летом 1939 года Силард и Ферми работали над установкой, которая позволила бы осуществить реакцию деления контролируемым образом. Приехавший из Принстона в Нью-Йорк Вигнер проверил расчеты Силарда и убедился в правильности предложенной им конструкции (через несколько лет эти работы увенчались созданием ядерного реактора, на который Ферми и Силард получили патент). Но мысль о неконтролируемом варианте цепной реакции и о том, что этот вариант может быть осуществлен в Германии, терзала недавних европейцев. Вигнер и Силард думали над необходимостью довести эти опасения до властей предрежащих, в частности, до короля Бельгии, владевшего крупнейшими урановыми месторождениями в Конго. Бельгия легко могла стать объектом германской экспансии, а кратчайший путь к бельгийской королевской чете лежал через Альберта Эйнштейна, знакомого с ней «домами». И вот жарким июльским днем два бывших слушателя берлинского семинара Эйнштейна по статистической физике, а ныне известные ученые Лео Силард и Юджин Вигнер подъехали к коттеджу на Лонг Айленде, в котором жил Эйнштейн. Они рассказали ему о своих недавних вычислениях и объяснили, каким образом из этой теории следует бомба. «*Daran habe ich gar nicht gedacht* (Я как-то об этом не задумывался)», – медленно произнес

Эйнштейн, взвешивая только что услышанное. Оценив полученную информацию, он тут же продиктовал Вигнеру по-немецки письмо к бельгийскому послу в Вашингтоне. Было также решено отправить копию этого письма в Госдепартамент. Расставшись с Вигнером, Силард продолжал размышлять над создавшейся ситуацией и пришел к выводу, что они действуют не лучшим образом. Он решил посоветоваться с коренным американцем, который понимает, как делается такой бизнес в Соединенных Штатах. Александер Сакс, вице-президент крупной корпорации Леман, посоветовал составить письмо непосредственно президенту США Рузвельту. Письмо должно быть подписано ученым с мировым именем. Эйнштейн вполне годится. Несколько дней Силард провел за сочинением черновика этого письма, и вот 2 августа 1939 года к коттеджу Эйнштейна снова подъехал автомобиль. На этот раз за рулем сидел... Эдвард Теллер. Силард считал, что Эйнштейну будет интересно познакомиться с этим человеком. Так возникло знаменитое письмо Эйнштейна Рузвельту, после которого американцы начали работу над созданием атомной бомбы.

В 1944 году работы над бомбой шли полным ходом, и уже стало ясно, что проект вскоре будет осуществлен. Силард не был бы Силардом, если бы не стал задумываться над тем, что наступит после создания бомбы и победы над Германией. До взрыва в Аламогордо еще месяцы, а он уже обращается к руководителям проекта с предложением об установлении международного контроля над атомной энергией. Война еще в полном разгаре, а он публично высказывает идею о создании мирового правительства, которое возьмет на себя контроль над нераспространением атомного оружия. Гонка вооружений, в которой примут участия США и Россия, также представляется ему реальным сценарием для послевоенного мира. В 1945 году он составляет меморандум Рузвельту, в котором предупреждает, что русские уже через

шесть лет смогут иметь атомные бомбы небольших размеров (как мы теперь знаем, прогноз был почти точен). Для того, чтобы донести этот меморандум до президента, Силард снова обращается к Эйнштейну с черновиком сопроводительного письма. Эйнштейн его подписывает, но 12 апреля Рузвельт умирает, так и не прочитав эти бумаги.

Новый президент Гарри Трумэн должен принять решение о возможности применения бомбы. Единственный противник, на котором можно продемонстрировать своим союзникам мощь нового оружия, это Япония, продолжающая сопротивляться после капитуляции Германии. Для принятия решения Трумэн создает Временный комитет, который, естественно, возглавляет военный министр. Ученые из Чикагской металлургической лаборатории, сотрудником которой был Силард, готовят доклад, известный в истории как доклад Франка. Силарду в его составлении принадлежит ведущая роль. В этом докладе содержится предостережение против применения бомбы в Японии, а взамен предлагается осуществить показательный взрыв в каком-нибудь необитаемом месте. Доклад отклоняется Временным комитетом 21 июня 1945 года, и через полтора месяца показательный взрыв испепеляет Хиросиму. А для тех, кто не понял, через три дня стирают с лица земли Нагасаки (заодно и статистику испытаний улучшить...). В 1946 году Силард был отстранен от ядерной программы ее официальным руководителем генералом Лесли Гровсом. Теллер возглавил ее следующий этап – проект водородной бомбы, а фон Нейман со своими компьютерами участвовал в расчетах.

Во времена холодной войны мы видим Силарда в рядах армии борцов за мир. Он по-прежнему верит в силу элитарного мышления и в то, что немногие интеллектуалы, объединенные «правильными идеями», могут спасти мир. Ведь, в сущности, Манхэттенский проект возник именно вследствие инициативы научной элиты, хотя потом события естествен-

ным образом вышли из-под ее контроля... Теперь Силард верит в то, что международное сотрудничество ученых может способствовать прекращению испытаний и даже запрещению атомного оружия, к созданию которого он приложил руку десять лет назад. Он участвует в подготовке и проведении первой международной Пагуошской конференции ученых – сторонников безъядерного мира. Силард полагает, что мнение научной элиты может иметь какое-то значение для советского политического руководства. И в этом пункте он решительно расходится с Теллером, который излечился от всех иллюзий относительно коммунистов еще до войны, когда увидел, как Сталин обращается с его другом Львом Ландау, а также с Петром Капицей. Да и многолетнее общение с Гамовым, надо думать, укрепляло мировоззрение Теллера как убежденного противника коммунизма в любых формах и проявлениях. Силард же продолжает «советовать царям» по обе стороны железного занавеса, благо, будучи участником Пагуошского движения, в Москве он имеет репутацию сторонника мира – в том смысле, как это понималось в ЦК КПСС. Там, по-видимому, полагали, что в определенных политических обстоятельствах Силард может быть использован как агент влияния.

Во всяком случае, во время визита Н.С. Хрущева в Соединенные Штаты осенью 1960 года, через несколько месяцев после инцидента со сбитым над Свердловском самолетом-разведчиком U-2, была устроена встреча между Хрущевым и Силардом в советской миссии ООН в Вашингтоне. Силард до этого несколько раз писал Хрущеву письма по поводу необходимости ядерного разоружения и международного контроля над имеющимися ядерными арсеналами. Подобные письма направлялись им также сменяющим друг друга американским администрациям в Белом Доме и Капитолии. Организовать встречу с Хрущевым ему помог Сайрус Итон, спонсор Пагуошских конференций, равно уважаемый

обеими сторонами. По дороге в советское представительство Силард остановил такси около придорожной лавочки, заскочил туда на минуту и вышел с бумажным пакетиком, который сунул в карман парадного пиджака. Советский посол в США М.А. Меньшиков встретил его в приемной представительства. Вошел Хрущев, они пожали друг другу руки, и Силард вытащил из кармана пакетик. В нем находился бритвенный станочек и комплект сменных лезвий «Шик». Силард вручил их собеседнику со словами: «Это недорого, но хорошо сделано. Лезвие можно сменить через неделю-другую. Если это устройство Вам нравится, я могу время от времени посылать новую упаковку. Но, разумеется, только если не будет войны». – «Если начнется война, – ответил Хрущев, – мне будет не до бритья. Да и всем остальным тоже». Посмеявшись, собеседники перешли к делу. Силард вручил советскому премьеру меморандум, составленный на русском языке. Он высказал идею о создании международной контрольной комиссии, которой граждане США и СССР напрямую могли бы сообщать о тайных нарушениях договора по атомным вооружениям, происходящих на их территориях. Эта идея Хрущеву пришлась по душе. Уж он-то хорошо знал граждан СССР. Кроме того, Силард поднял вопрос об установлении прямой телефонной связи между руководителями сверхдержав, во избежание роковых случайностей. Встреча продолжалась два часа вместо запланированных пятнадцати минут. Силард с некоторым удивлением вспоминал потом, что Хрущев согласился со многими его предложениями. А прямая телефонная связь Москва – Вашингтон была установлена в 1963 году после Карибского кризиса и действует по сей день.

Научные интересы Силарда после завершения Манхэттенского проекта передвинулись в сторону биологии. В фокусе его внимания оказалось все, что связано с жизнью человека. Ему хотелось понять этот феномен в комплексе и с

этой целью создать исследовательский центр, который бы занимался проблемой человека в целом – и как биологическим существом, подчиняющимся законам физики и химии, и как социальным животным, подчиняющимся законам общественных формаций. Такой институт был бы практической реализацией его юношеской идеи Бунда. В нем следовало бы собрать свободных исследователей, обеспечить их пожизненной зарплатой и ничем не ограничивать их научное любопытство. Эта идея частично материализовалась в Институте Солка. Джонас Солк, создатель вакцины от полиомиелита, оказался «братом по разуму» Лео Силарда, человеком столь же широко и оригинально мыслящим и тоже испытывающим некоторое отчуждение от коллег по профессиональному цеху. Институт Солка был создан при активном участии Силарда в 1961 году на берегу Тихого океана в кампусе Ла Хойя Калифорнийского университета в Сан-Диего. В феврале 1964 года Силард решает полностью сосредоточиться на биологических исследованиях и перебирается в Ла Хойя. Но отмеренный ему срок жизни подошел к концу. Лео Силард умер 30 мая того же года смертью праведника – во сне, от второго инфаркта. Он не получил никаких почетных званий и научных премий при жизни. Ни в одном университете не существует кафедры Силарда, нет и Силардовской премии. Но есть одно место, где имя Лео Силарда увековечено наравне с именами Коперника, Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Его именем назван кратер на Луне.

Янош фон Нейман ушел из жизни семью годами раньше Силарда, Денеш Габор дожил до 1979 года, Енё Вигнер умер в 1995 году, а Эдё Теллер вместе со всеми нами перебрался в XXI век и дожил до 2003 года.

Жизненный путь ученого обычно почти полностью исчерпывается списком его трудов. Профессиональные физики и математики знают, как глубоко и фундаментально повлияли будапештские «пришельцы» на состояние дел в своих



Янош фон Нейман



Эдд Теллер



Енё Вигнер



Денеш Габор



Лео Силард

специальных областях. Словосочетания «алгебра Неймана», «проекционный постулат Неймана», «функция распределения Вигнера», «формула Брейта – Вигнера», «правила Гамова – Теллера» и т.п. многое говорят уму и сердцу понимающих в этих делах людей. Но можно ли сказать, что этим исчерпывается их вклад в историю человеческой цивилизации? Улицы Байза и Фашор почти не изменились с тех времен, когда по ним ходили в школу Янош, Енё и остальные. Но что стало с человеческим обществом за век, прошедший с той поры! И кто может измерить совокупный вклад пятерых будапештских евреев в удивительную и ужасающую историю XX века?

ОРФЕЙ, ВЕРНУВШИЙСЯ ИЗ АДА

Овидий пересказал нам историю Орфея, фракийского певца и поэта, сошедшего в подземное царство мертвых, чтобы вызволить оттуда свою погибшую возлюбленную. Аид и Персефона, зачарованные его пением, выпустили Орфея обратно на свет, но жену его Эвридику оставили при себе, потому что поэт нарушил запрет повелителя мертвых: обернулся и взглянул на тень своей жены прежде, чем она переступила черту, отделяющую Элизиум от мира, освещаемого солнцем. Вернувшись с того света один, Орфей стал жрецом бога Аполлона. В этом качестве он неодобрительно отнесся к оргиастическим мистериям, которые устраивались в священной роце в честь другого бога – Диониса, и был растерзан его фанатичными почитательницами, менадами, в один из праздничных дней. Но голова его, отделенная от тела и брошенная вакханками в реку Гебр вместе с лирой, плыла по течению реки и продолжала петь. Река вынесла ее в море, а морские волны доставили на Лесбос, остров поэтов. Лира же была помещена на небо в виде известного всем созвездия.

Овидиевская метаморфоза вошла в основной фонд европейской культуры и была бесчисленное множество раз пересказана на всех языках, положена на музыку, представлена в театре, запечатлена в мозаике, камне и изображена на холсте. Двадцатый век изгнал классическое образование из всеобщего обихода, но история Орфея и Эвридики осталась в генетической памяти его поэтов. Рильке и Тракль, Валери, Жув и Кокто, Цветаева и Мандельштам ненароком вплетали орфические мотивы в свои стихи.

Здесь будет рассказана история еще одного поэта, венгерского еврея, чья жизнь поразительным образом пре-

творила судьбу фракийского певца. Но эта жизнь протекала отнюдь не на фоне античных гор, морей и рек, обитатели которых замирали, услышав пение поэта. Миклошу Радноти довелось быть жителем Будапешта и Сегеда в мрачную эпоху европейской и венгерской истории между двумя мировыми войнами. Радноти разделил судьбу большинства венгерских евреев своего поколения. Ад Холокоста взял его смертное



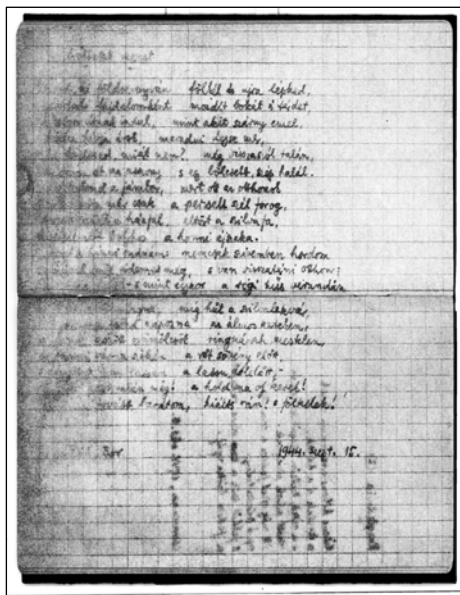
Миклош Радноти

тело, но он был великим поэтом, и его душу отпустили на свет Божий, туда, где Миклоша дождалась в Будапеште его Эвридика, носившая в этой жизни скромное имя Фанни.

Поздней осенью 1944 года конвой внутренних войск венгерской армии гнал по раскисшим дорогам южной Венгрии колонну смертельно усталых евреев. Их путь лежал из сербского городка Бор, где эти несчастные отбывали трудовую повинность, наложенную венгерскими властями на своих подданных еврейского происхождения, обратно в Венгрию навстречу неизбежному концу. Русские уже вступили на Балканы, а Германия и ее союзники сворачивали свою активность в этих местах. Еврейскую рабсилу отправили на родину своим ходом. Скорбный марш начался в середине лета, и позади уже остались сотни километров, пройденных по горам и долинам Сербии и Хорватии. Ночевки в заброшенных строениях или просто под открытым небом, скудная пища, сбитые в кровь ноги, грубые окрики охранников – с каждым днем подконвойных в строю оставалось все меньше. Где-то в первых числах ноября, уже на венгерской земле, возле де-

ревни Абда, охрана отделила от колонны очередную группу доходяг, у которых не было сил двигаться вперед. Их погрузили на подводу и попытались пристроить сначала в местную больничку, потом – в школу, дававшую приют беженцам. Но места для евреев нигде не нашлось, и конвойные отвели их к старой дамбе. Двадцать два человека, и среди них Миклош Радноти, были расстреляны в этот день и небрежно закопаны в наскоро вырытом рву. Колонна ушла дальше.

Через полгода окончилась война. Еще через год захоронение было найдено, останки извлечены из рва и произведено опознание. Из кармана дождевика Миклоша Радноти, убитого выстрелом в шею, его вдова извлекла маленькую записную книжечку, купленную где-то в Сербии. Первые две странички содержали обращение на пяти языках (венгерском, сербско-хорватском, немецком, французском и английском) с просьбой передать эту тетрадку со стихами венгерского поэта Миклоша Радноти профессору Будапештско-



го университета Дьюле Ортутаи. Как в известном романе Жюль Верна, на каждом из языков можно было разобрать лишь часть текста этого обращения. Английский текст вежливо заканчивался: «*Thank you in anticipation...*». На остальных страничках книжечки, подмокших, заляпанных грязью, с трудом прочитывались стихотворные строчки, аккуратно записанные карандашом.

Так из небытия были извлечены стихи, которые теперь входят во все антологии венгерской поэзии. Пять больших стихотворений и четыре фрагмента, имеющих общее название: «*Razgledničak*» (на сербском языке «разгледница» – это видовая открытка). Стало быть, к нам вернулись с того света открытки с видами на дорогу в преисподнюю. Вот самая знаменитая из этих страниц – «*ERŐLTETETT MEMET*».

ФОРСИРОВАННЫЙ МАРШ

*Безумец падает, встает, вновь падает, привстав,
сплошная тянущая боль любой его сустав,
еще рывок, как будто он внезапным поднят ветром,
глубокий ров его зовет, но медлит он с ответом.
Так отчего ж не хочет он во рву найти покой?
Его ждет женщина, и он готов к судьбе иной.
Безумец бедный, что ты провидишь там вдали?
Смерч выжжет все живое от неба до земли,
обрушены ограды, ободраны сады,
и дом с приходом ночи угрюмо ждет беды.
О, если бы не только там на дне моей души
хранился образ дома, где в покое и в тиши
прохладная веранда, варенье на столе
и сонный августовский луч в оранжевом стекле,
ленивое жужжанье пчел, вернувшихся с полей,
тугие капли спелых слив, свисающих с ветвей,
где Фанни ждет меня, бледна на фоне листьев ржавых.
Пусть утро левою сотрет, что ночь напишет правой,
но это – будет. Вот луна теснит полночный мрак.
Друг, руку! Я смогу еще один осилить шаг!*

Автор данного очерка, увы, не владеет венгерским, и этот текст скорее переложение, чем перевод (как и все последующие выдержки из стихов Радноти). В качестве подстрочника использован настоящий высококачественный перевод

на английский, сделанный англо-американским поэтом Ф. Тернером в содружестве с Ж. Ожват, профессиональным филологом, для которой венгерская поэзия – родной дом. Работая над текстом, автор имел перед глазами и английский перевод, и венгерский оригинал, и даже факсимильную копию последней записной книжки поэта^{*}, так что в «перевод с перевода» сохранены и размер, и система рифмовки, и эти страшные насильственные цезуры, раздирающие стихотворение пополам, как свиток Торы на наших памятниках жертвам Холокоста.

Миклош Радноти был рожден в Будапеште в мае 1909 года. Его появление на свет стоило жизни матери и брату-близнецу. Отец вскоре женился во второй раз, а об обстоятельствах своего рождения Миклош узнал только в возрасте десяти лет. В двенадцатилетнем возрасте он стал круглым сиротой: его отец, Якоб Глаттер, внезапно умер от закупорки сосудов головного мозга. Эмоциональный шок, испытанный Миклошем в детстве, во многом предопределил основную тональность его поэзии, и сопряженность полноты жизни и необратимости смерти стала одним из ее лейтмотивов.

Последние школьные годы он провел в семье дальних родственников, и по окончании школы, по их настоянию, отправился в Чехословакию изучать текстильную технологию. Однако через год он вернулся в Будапешт с твердым намерением посвятить свою жизнь литературной деятельности (свой литературный псевдоним он связал с местом рождения отца – городком Раднот). Тут Миклошу отчетливо напомнили о его гражданской неполноценности. Еще с 1920

^{*} Автор выражает глубокую признательность Юлии Ньери, от которой он впервые услышал историю гибели Миклоша Радноти и получил в подарок эту копию.

года в Венгрии действовала процентная норма для поступления евреев в университеты. В разрешенные Будапештскому университету шесть процентов Радноти не попал, но его зачислили на филологический факультет в Сегеде.

Сегед в те годы был крупным провинциальным центром с устойчивыми традициями культурной и интеллектуальной жизни, но и со столь же устойчивыми националистическими настроениями, приправленными горечью недавней национальной катастрофы. В 1918 году Венгрия выпала из некогда могущественной двуглавой Австро-Венгерской империи, которая в союзе с Германией и Турцией проиграла войну Антанте. Трианонский мирный договор составлялся под древним девизом «Горе побежденным!», и приобретя независимость, Венгрия лишилась двух третей своей исторической территории. К тому же, на волне успеха большевистской революции в России, к власти в стране на короткое время пришли коммунисты во главе с Бела Куном, уже набравшимся к тому времени революционного опыта в карательных отрядах РКП(б). Революция была подавлена, реванш был столь же кровавым, и в Сегеде начала 30-х годов еще помнили погромы тех лет, когда отряды правых радикалов рыскали по городу в поисках коммунистов и евреев, не делая особых различий между теми и другими. Те, кто расправлялся с левыми в Сегеде, никуда за прошедшее десятилетие не делись, и молодой Радноти, социалист по убеждениям, должен был чувствовать эту атмосферу всей кожей. Он присоединился к местной ассоциации молодых интеллектуалов и деятелей искусства, исповедовавшей социалистические идеи, в их традиционной для полуфеодальных стран Восточной Европы форме (верность идеалам, одушевлявшим Шандора Петефи в славные времена революции 1848 года, лозунги социальной справедливости, острый интерес к национальному фольклору...).

Первому сборнику своих стихов Радноти дал название «Заклинания язычника». Его ранние стихи близки по духу к

французскому экспрессионизму и имеют отчетливую социальную окраску. В это же время в сочинениях Радноти начинают звучать католические мотивы. Возможно, и эта весть пришла к нему на французском языке: он переводил на венгерский французских поэтов начала века, а эстетика католицизма была не чужда многим крупным литераторам Франции той эпохи, начиная с Шарля Гюисманса и Поля Клоделя. К тому же католическая идея об искупительных свойствах искусства хорошо сочеталась с социалистическим чувством сострадания к угнетенным ближним. Но какую бы идеологию не исповедовал поэт, к какому бы сообществу он ни принадлежал, строчки своих стихов он извлекает из небесных сфер с помощью своей личной лиры, настроенной на его неповторимую персональную судьбу. И вот мы читаем стихотворение «Как бык», сочиненное в 1933 году, когда Радноти еще дописывал свою докторскую диссертацию в Сегедском университете. Миклош сравнивает свою жизнь с существованием молодого быка на лугу среди оплодотворенных им коров. Бык скачет по цветущему лугу, он полон жизни, копыта его вырывают пучки травы из податливой почвы... Но ветер доносит с гор запах волчьей стаи.

*...и он предчувствует, что придет время битвы,
в которой он падет, провидит стаю волков,
что растащит его кости по цветущему лугу –
и печальный бычий рев возносится в медовый воздух.
Так и я буду биться, так и я погибну,
и эти поля сохранят мои кости в напоминание потомкам.*

В 1934 году Радноти возвращается в Будапешт. Ни его учительский сертификат, ни его докторская диссертация по литературе, ни уже сложившаяся репутация поэта, автора трех сборников стихов, не помогают ему при попытках найти «место». Ему так и суждено быть лицом без определенных занятий до конца жизни. Зато он становится постоянным автором жур-

нала «*Nyugat*» («Запад») – самого престижного периодического издания в тогдашней венгерской литературе. Название довольно исчерпывающим образом указывает на направление этого издания и его роль в национальной культуре. Бывшим читателям «Иностранки» времен оттепели и застоя особых разъяснений по этому поводу не потребуется...

Политическая жизнь в Венгрии середины 30-х годов развивалась под знаком национализма, густо замешанного на реваншистских настроениях, и ветер, раздувавший эти паруса, дул из Берлина. Союз с нацистской Германией определял и экономическую ситуацию, и духовную атмосферу в стране. Интеллигенция, как ей и положено, смотрела влево. Там был Париж. Радноти трижды посещал Париж в тридцатые годы. Он с удовольствием окунался в свободную космополитическую атмосферу этого города, в котором еще не до конца выветрился революционный дух Парижской школы 10-х – 20-х годов, перетрясшей до основания все принципы и традиции европейского искусства. Его воодушевляла трудная задача: влить струю редкостного родного языка в полноводный поток европейской поэзии и заставить звучать по-венгерски самые изысканные франко-англо- и немецкоязычные стихи.

Среди тех, кого Радноти переводил на венгерский, были Рембо, Малларме, Элюар, Аполлинер, Блез Сандрар, Брехт. Переводчик – всегда немного Протей, который стремится принять облик переводимого им поэта, чтобы заставить его говорить на другом языке. Радноти даже придумал себе протейский псевдоним-палиндром: *Radnoti – Eaton Darr*. Он переводил и древних: Сафо с греческого, Тибулла и Вергилия с латыни. Как-то, обсуждая свои переводы с одним из друзей, он невозмутимо заметил, что некоторые строки Тибулла в его переводе звучат лучше, чем по-латыни. И это было не высокомерием, а всего лишь пониманием простой

истины: все поэты черпают из одного источника, каждый на своем языке, и задача любого из них – донести, не расплескав. Сборнику переводов, вышедшему в 1943 году, Радноти дал название «По стопам Орфея».

Его собственные «Эклоги» были откликом на прочитанные и переведенные им вергилиевские. Первая из них посвящена памяти великого испанского поэта Гарсии Лорки, расстрелянного франкистами в августе 1936 года на окраине деревушки в окрестностях Гранады вместе с двумя гранадскими тореро и хромым стариком – деревенским учителем. Эта эклога написана в форме диалога между Поэтом и Пастухом...

*ПАСТУХ: Мертв Гарсиа Лорка! И никто не сказал мне об этом!
Слухи о бедствиях быстро бегут, и лишь у поэта
такая судьба!*

Но Европа – неужто она не скорбела о нем?

*ПОЭТ: Никто не заметил. Разве что ветер, ворошиа
погребальный костер,
прочел неясные строчки на тлеющих углях. И если
наследники спросят, скажи им, что больше нет ничего...*

Миф о растерзанном Орфее разметан по множеству стихотворений Радноти, многие из которых содержат и предвосхищение его собственной судьбы. Рождение/смерть и смерть/рождение есть их постоянный лейтмотив. Стихотворение «Двадцать девять лет» обращено к близкому другу Дьюле Ортугаи (тому самому адресату записной книжки, найденной в кармане дождевого плаща расстрелянного поэта). Написанное накануне тридцатилетия, оно начинается с медитаций в духе дантовского «Земную жизнь пройдя до половины...», но вместо горного леса и голодных хищников – рыси, львицы и волчицы, теснивших к адским вратам великого тосканца, Миклош, разбуженный внезапным ночным дождем, видит горящиеся холмы и себя среди них. Сопровождаемый ночным мотыльком и лучом безымянной звезды,

он оказывается в какой-то болотистой дельте (как говорят, похожей на местность, где поэт был убит). Преследователи остались позади, но охота не окончена. Быть может, уже рожденные стихи ожидает огонь, а нерожденные рассеются по ветру... Но мощная река катит волны, дельта дышит, и из камышей, шумящих на ветру, навстречу солнцу выплывает розовеющий фламинго.

С началом Второй мировой войны апокалипсические предвидения Радноти стали превращаться в бытовую реальность. Удушливая националистическая атмосфера, все новые и новые указы, ограничивающие евреев в правах, ежегодная трудовая повинность... Но чем глубже погружается в варварство и хаос жизнь в хортистской Венгрии, тем более изысканными и отточенными по форме становятся сочинения Радноти. Он возвращается от вольного стиха к метрическому, свободно комбинируя античные метры с классическими европейскими формами и пользуясь фонетическими и метафорическими возможностями родного языка. Радноти словно предчувствует, что предстан перед потусторонними судьями Миносом и Радамантом, он не может рассчитывать на их знание венгерского, но они наверняка расслышат неотвязную музыку стиха, как различали ее и в пении другого редкоязычного смертного – фракийца Орфея. В 1943 году Радноти формально принимает католичество.

Круг оставшихся в живых друзей сужается, и собственная гибель представляется все более неотвратимой. В «Пятой эклоге» поэт оплакивает своего друга Дьердя Балинта, отбывавшего трудовую повинность в венгерской оккупационной армии и сгинувшего в степях Украины:

*Жив ли ты? Или просто подранен
и бредешь по колено в опавшей листве,
благоухающей плесени леса? И сам ты
не более, чем лесной аромат? – но поля
уже цепенеют под первым снегом.*

Вечная игра в метры продолжается и перед лицом приближающейся гибели. «Восьмая эклога», найденная в той же посмертной записной книжечке, помечена лагерем Хайденау в горах над Жагубицей и датирована 23 августа 1944 года. Это самое начало форсированного марша из Бора в придунайские болота. В соответствии с законами античного жанра – это снова диалог: на сей раз между Поэтом и Пророком. Поэт встречает старца в дикой горной местности и спрашивает, вознесен ли он сюда на крыльях или преследуем врагами. Старец отвечает, что он не кто иной, как Нахум, некогда посланный Богом в Ниневию с сумой, полной гнева. *«То, что тобою сказано, длится и ныне; наслышан и я про эту древнюю ярость»*, – отвечает Поэт. Пророк повторяет вновь свои ветхозаветные проклятия тогдашнему падению нравов, и Поэт вторит ему, красноречиво описывая бедствия нынешней войны. Затем он вопрошает Пророка: *«Как это стало возможным, что пламя гнева, возжженное тысячелетья назад, горит с неослабленной мощью?»*. Ответ Пророка слышал любой читатель русской поэзии. *«Бог коснулся горящим углем моих искривленных уст, как Он сделал это с мудрым Исайей»*. Далее Нахум обращается к Поэту: *«Я прочел твои строки, ярость водила твоею рукой. Гнев поэтов гневу пророков сродни... Восстань, возвести вместе со мной, что час уже близок и Царство рождается в муках... Выходи на дорогу, жену с собой призови, вырежь посох, странника верный попутчик. Сделай посох и мне, не беда, если будет он из лозы узловатой. Я люблю, когда жезл узловат»*.

Вряд ли Радноти читал Пушкина, просто оба они обращались к одному и тому же вечному источнику – Книге Исаяи. И уж, конечно, ему были неизвестны строки Осипа Мандельштама: *«Посох мой, моя свобода, сердцевина бытия...»* или *«посоха усталый ясень...»*, так же, как его траги-

ческая судьба. Жизненные траектории двух великих поэтов XX века пугающе параллельны. Оба покинули породившую их еврейскую среду и стремились стать частью мейнстрима национальной – венгерскоязычной и русскоязычной поэзии. Оба совершали паломничества на Запад, оба стремились обогатить молодую еще поэтику родного языка достижениями многовековой европейской культурной традиции. Оба оказались изгоями в своих отечествах, оба приняли христианство и нашли свою еврейскую погибель в безымянных могилах. Обоих ждала ослепительная посмертная слава, одного – через два года, а другого – через четверть века. И у каждого была своя Эвридика, благодаря которой похороненные было безымянными палачами стихи вернулись на свет Божий.

ИОФФЕ, РЕНТГЕН И ДРУГИЕ

*Он из Германии туманной
Привез учености плоды...*

А. Пушкин

Во исполнение личного указания Ленина («арестовать несколько сот и без объявления мотивов: выезжайте, господа!»), подкрепленного соответствующим постановлением компетентных органов, два «философских парохода» привезли осенью 1922 года из Петрограда в Штеттинский порт большую группу российских интеллигентов, которая в дальнейшем составила основное ядро российской диаспоры в Германии. Среди высланных московских и петроградских интеллигентов были философы, историки, экономисты, агрономы, математики, а также духовные лица, журналисты, издатели, кооператоры, инженеры... Основу этой группы изгнанников составляли профессора университетов обеих столиц. Физиков среди них не было*. В этой статье мы попытаемся понять, почему отношения между физиками и советской властью складывались не так катастрофически, как это случилось с другими кандидатами в пассажиры «философских пароходов». Биографии трех выдающихся ученых – Л.И. Мандельштама, А.Ф. Иоффе и Ю.Б. Румера, учившихся и работавших в лучших университетских центрах Германии – Страсбурге, Мюнхене и Гёттингене, вернувшихся в Россию и проживших до конца своих дней в Советском Союзе, помогут нам это сделать.

* Плыл, правда, на одном из этих пароходов петербургский журналист Борис Харитон, отец будущего создателя советской водородной бомбы Ю.Б. Харитона.

В конечном итоге объяснение следует искать и в истории возникновения и развития российской физики, и в особенностях профессии. Наука в европейском понимании этого слова появилась в России только в XVIII веке в результате реформ Петра Великого. Точнее говоря, она была импортирована вместе с европейской материальной культурой и европейскими обычаями. Поначалу эта наука, облеченная в академическую униформу, располагалась в новой столице, писала на латыни, а говорила преимущественно по-немецки. Михайло Васильевич Ломоносов, согласно благочестивой русской легенде, боролся с немецким засильем словом и делом. Российская империя помалу благоустраивалась, появились университеты и в столицах, и в провинции, а вместе с ними народились и собственные «невтоны». За два века, прошедшие от петровских реформ до большевистского переворота, российские естественные науки накопили определенные традиции. Математика могла гордиться звездами первой величины – Лобачевским, Чебышевым, Марковым, Ляпуновым, Стекловым, Бернштейном, Жуковским, Егоровым, создателями и питомцами университетских научных школ Петербурга, Москвы, Казани, насчитывавших несколько поколений учителей и учеников. В тех же университетах в течение всего XIX века процветала химия. Высокая репутация российских химиков поддерживалась открытиями Менделеева, Бутлерова, Курнакова, Бекетова, Арбузова, Меншуткина, Зелинского.

Успехи отечественной физики были значительно скромнее. Хотя такие имена, как Ленц, Авенариус, Столетов занимают достойные места в истории классической физики, в начале XX века ситуация с физической наукой в целом и с физическим образованием в частности была довольно плачевна. В Петербурге серьезной научной школы не существовало. Ведущим профессором Петербургского университета был О.Д. Хвольсон, автор знаменитого пятитомного курса

физики. Он был блестящим лектором и популяризатором, но его научные амбиции не шли дальше «замечательной традиции воспроизводства лучших научных заграничных работ»*. Московскую школу физиков возглавлял крупный ученый П.Н. Лебедев, но в результате действий министра просвещения Кассо, попытавшегося возложить на университетскую профессию полицейские функции, ее деятельность была фактически парализована: Лебедев в числе ста с лишним ведущих профессоров покинул Московский университет и был вынужден искать место за рубежом.

В те времена получение высшего образования в зарубежных университетах для российских ученых не являлось чем-то необыкновенным. Помимо гораздо более высокого качества европейского образования в сравнении с отечественным, для этого имелись и специфические резоны. В среде российского студенчества, особенно разночинного, революционные настроения были распространены весьма широко еще со времен народнического движения, и вылететь из университета с «волчьим билетом» было делом вполне житейским. Для студентов-евреев эта неприятность влекла за собой еще и лишение права проживать в столицах. В то же время либеральные правила поступления в европейские университеты и заманчивая легкость пересечения европейских границ указывали диссидентам естественный выход из этого тупика. Германия, наряду со Швейцарией и Францией, была наиболее популярным местом паломничества российских студизусов, среди которых выходцы из черты оседлости составляли существенный процент.

* Френкель В.Я. Яков Ильич Френкель. М.–Л., 1966. С. 26.

Страсбург. Леонид Исаакович Мандельштам

В истории Страсбургского университета заметный след оставил *Л.И. Мандельштам* (1879 – 1944). Страсбург в ту пору входил в состав Германской империи, а тамошний университет считался одним из лучших в стране. Отвоевав Эльзас у Наполеона III во Франко-Прусской войне 1870 года, немцы не жалели денег и усилий, чтобы утвердить свой культурный авторитет на вновь обретенных территориях.



Были построены новые университетские корпуса в солидном имперском стиле, а профессорские кафедры заняли первоклассные немецкие физики Кундт, Кольрауш, Браун. Первым в ряду русских физиков, учившихся в Страсбурге, должен быть назван П.Н. Лебедев, основатель московской физической школы, который появился в Страсбурге в 1887 году и провел там четыре года. Именно в Страсбурге он ощутил себя физиком. В историю науки Лебедев вошел как экспериментатор, впервые измеривший давление света. За эту работу он был номинирован на Нобелевскую премию в год своей смерти (1912) вместе с А. Эйнштейном, построившим теорию фотоэффекта*.

Леонид Исаакович Мандельштам в возрасте двадцати лет был исключен из Новороссийского университета в Одессе за участие в студенческих волнениях. Его родители (ши-

* Нобелевский комитет в тот год «прокатил» обоих кандидатов, присудив премию инженеру Н. Далену «за изобретение автоматического регулятора, используемого при освещении маяков». Что ж, маяк – это тоже оптика.

роко известный в Одессе врач и замечательная пианистка – классическое еврейское сочетание) приняли немедленное решение отправить мальчика в какой-нибудь престижный европейский университет. Выбор пал на Страсбург. В результате в 1899 году Леонид Мандельштам стал учеником тогдашнего директора Физического института Фердинанда Брауна, разделившего с Г. Маркони в 1909 году нобелевские лавры за создание беспроводной радиосвязи (он изобрел тот самый кристаллодетектор, в который тыкали иголкой первые энтузиасты-радиоловители, а также катодную трубку). Мандельштам уверенно вошел в немецкую университетскую систему, за три года подготовил и защитил диссертацию по теории электромагнитных колебаний, а еще через пять лет получил звание доцента. Мандельштам проработал ассистентом Брауна до 1914 года. Он вернулся в Россию перед самым началом мировой войны и свою карьеру на родине начал с работы консультантом в радиотелеграфном отделении завода немецкой фирмы «Сименс и Гальске»*.

Именно в Страсбурге Мандельштам начал исследования в области взаимодействия света с веществом, приведшие его к правильному ответу на детский вопрос – почему небо голубое, на который до него пытались ответить Ньютон и Рэлей, а затем – к открытию комбинационного рассеяния света. За этот эффект была присуждена Нобелевская премия. Но получил ее не Леонид Мандельштам, а индийский физик Ч. Раман. Л.И. Мандельштам с Г.С. Ландсбергом в Москве и Ч. Раман с К. Кришнаном в Калькутте обнаружили этот эффект практически одновременно, но Раман на следующий день оповестил об этом весь научный мир, а москвичи обдумыва-

* Директором завода в это время был легендарный большевистский спец Л.Б. Красин, а летом 1917 г. производственную практику на нем, под руководством Л.И. Мандельштама, проходил будущий нобелевский лауреат Петр Капица.

ли, перепроверяли и не торопились с публикацией. К тому же Мандельштам в это время был сильно озабочен тем, как спасти от расстрела одного из своих родственников. История этого драматического присуждения широко освещалась в литературе*.

«Советская» часть биографии Л.И. Мандельштама довольно типична для ученых его поколения. Найти свое место в новой реальности ему было непросто. В смутные времена Гражданской войны он профессорствовал в политехнических институтах Тбилиси и Одессы, в 1922 году перебрался в Москву, а в 1925 году, наконец, стал профессором МГУ. Хотя он и принял советскую власть как реальность, с которой следовало примириться, далось ему это нелегко. По свидетельству своего ученика И.Е. Тамма, в конце 1922 года он даже подумывал о возможности возвращения в Германию. «Отвращение ко всему большевистскому ... стало у Леонида Исааковича совсем болезненным, включительно до того, что необходимость сидеть за столом (в разных концах и не разговаривая) с коммунистом ... вызывает у него мигрень страшнейшую на всю ночь!»**. Да и сама эта власть к нему относилась с подозрением, как к «попутчику». Большая часть жизни Л.И. Мандельштама в Москве связана с Физическим институтом Академии наук, которому было присвоено имя первого российского «страсбургца» П.Н. Лебедева. Добрая половина крупнейших московских физиков (И.Е. Тамм, Г.С. Горелик, М.А. Леонтович, С.М. Рытов, С.П. Стрелков, С.Э. Хайкин и др.) – его ученики. За свои работы он получил и Ленинскую, и Сталинскую премии, но это не предохранило его от преследований по политической линии за «идеализм в науке», за то, что он никак не хотел призна-

* См.: Гинзбург В.Л., Фабелинский И.Л. К истории открытия комбинационного рассеяния света // Вестник РАН. 2003. Т. 73. № 3. С. 215–227.

** Из письма И.Е. Тамма к жене от 14.12.1922. Цит. по кн.: «Капца. Тамм. Семенов». М., 1998. С.272–273.

вать квантовую механику оружием идеологической диверсии загнивающего империализма.

В книге воспоминаний сотрудника теоретического отдела ФИАН академика Евгения Львовича Фейнберга* упоминается эпизод, о котором ему рассказал один из старейших «фиановцев» – академик Д.В. Скобельцын. Однажды директор института академик Вавилов в присутствии Скобельцына отчитывал своего сотрудника, критиковавшего Леонида Исааковича Мандельштама: «Запомните, – строго произнес Сергей Иванович, – весь ФИАН держится на Мандельштаме».



Мюнхен. Абрам Федорович Иоффе

Если Страсбургский университет дал России основательницу московской школы физиков, то организатором крупнейшей в СССР физической школы в Ленинграде был Абрам Федорович Иоффе (1880 – 1960), завершивший свое образование в Мюнхенском университете в лаборатории Вильгельма Рентгена – первого лауреата Нобелевской премии, открывшего X-излучение, которое теперь называется рентгеновским.

А.Ф. Иоффе родился в уездном городке Ромны в семье купца второй гильдии. Физикой он заинтересовался еще

* Фейнберг Е.Л. Эпоха и личность. Физики: Очерки и воспоминания. М., 2003.

в годы учения в Ромненском реальном училище. В поисках ответа на мучившие его вопросы о природе света и запаха он прибыл в Петербург в надежде научиться искусству физического эксперимента. Трехпроцентная норма и отсутствие классического гимназического образования закрывали ему дорогу в Петербургский университет, поэтому он остановил свой выбор на лучшей по тому времени технической школе – Петербургском технологическом институте. Уровень преподавания интересующих его предметов был разочаровывающе низок, и по совету своего профессора физики Н.А. Гезехуса Иоффе отправился в Мюнхен, снабженный его рекомендацией. В кармане у молодого инженера имелась сумма денег, которой должно было хватить на полугодовую стажировку, а в сумму его знаний входили сочинения Г.В. Плеханова о диалектическом материализме и избранные главы «Капитала». Статистическую физику и термодинамику молодой Иоффе воспринимал как конкретное развитие идей диалектического материализма.

В качестве студента-практиканта, а затем докторанта в лаборатории Рентгена А.Ф. Иоффе прошел суровую школу. В.-К. Рентген был экспериментатором высочайшего класса, необычайно взыскательным к качеству и достоверности измерений. К прибывшему из России молодому человеку он относился без малейших скидок на недостаток подготовки и слабое владение иностранными языками. После первых совместных экспериментов с магнитными свойствами радия профессор признал профессиональную состоятельность юноши. К этому времени собственные средства у Иоффе кончились, и Рентген зачислил его своим ассистентом, открыв ему тем самым возможность для нормальной академической карьеры. Иоффе провел в лаборатории Рентгена четыре года, да и в последующие времена он неоднократно приезжал в Мюнхен к своему учителю.

История их совместной деятельности весьма драматична. Открытием нового вида излучения Рентген задал себе высо-

чайший стандарт, и найти новую тему, достойную исследования, ему было не так-то просто, особенно если учесть его «классическое» мировоззрение – у себя в лаборатории он установил запрет на употребление понятия «электрон», считая его пустой выдумкой, мешающей понять истинную суть электромагнетизма.

Иоффе, с разрешения своего руководителя, занялся исследованием влияния различных излучений, включая рентгеновское, на электропроводность диэлектриков. Каждый раз, когда таковое влияние обнаруживалось, приходилось преодолевать скептическую реакцию руководителя. Но в конце концов выкристаллизовалась тема для совместного исследования – фотоэффект в кварце, подвергнутом рентгеновскому облучению. В течение почти двадцати лет, до самой смерти, эта проблема оставалась единственной научной работой Рентгена. Параллельно Иоффе выполнил цикл исследований по природе пьезоэлектрического эффекта в том же кварце, за который в 1905 году ему была присуждена докторская степень с высшим отличием *Summa cum laude*. Заключительная речь декана была произнесена на латыни, которой выпускник Ромненского реального училища, конечно, не знал. По окончании речи он пожал Иоффе руку, из чего тот заключил, что научная степень им получена. Только вернувшись в лабораторию, он узнал от учителя о том, что ему присуждена высшая степень из четырех возможных. Молодой человек понятия не имел об этой градации. Рентген долго не мог поверить, что Иоффе не потрудился осведомиться о порядке присуждения степени. «Вы действительно нелепый человек», – вспоминал он позднее высказывание учителя в свой адрес.

В августе 1906 года Иоффе уехал в Россию «и увидел воочию отход интеллигенции от революции»*. Со своими мар-

* Иоффе А.Ф. Встречи с физиками. М., 1960. С. 20.

ксистскими убеждениями он посчитал, что совесть не позволяет ему оставить Россию в то время, когда торжествует реакция. Он написал Рентгену, что не вернется в Мюнхен, несмотря на то, что состоял в штате лаборатории и выдвигался Рентгеном на профессорскую должность. Такое нарушение всех правил и служебных обязанностей возмутило Рентгена, но, остыв, он признал правомерность моральных побуждений своего сотрудника и не прервал совместной научной работы.

До Октябрьской революции, а точнее, до начала Первой мировой войны, Иоффе имел возможность регулярно (дважды в год) наезжать в Мюнхен для продолжения опытов по фотоэффекту в облученных кристаллах. За это время накопилось 17 лабораторных тетрадей и 300 страниц текста, но Рентген все никак не мог найти оптимальный способ изложения полученных результатов. Ему хотелось систематически описать наблюдаемые факты, не привлекая никаких «гипотетических» объяснений. А Абрама Федоровича интересовали, прежде всего, обобщения и выводы из накопленного материала. Соответствующую главу в черновике текста предполагаемой статьи он скромно назвал «Разгадка 7 мировых загадок». Рентген читал и перечитывал текст в поисках неувязок и противоречий. Не найдя ничего такого, он скрипя сердцем согласился включить ряд физических выводов в текст работы. Но, увы, как только Иоффе покидал Мюнхен, червь сомнения начинал вновь точить душу старого профессора.

Во время последней встречи летом 1914 года Рентген предложил разделить материал, оставив себе одну только каменную соль. В конце концов, он опубликовал статью размером в 200 страниц уже после войны, в 1920 году, упомянув в ней, что часть результатов получена вместе с А.Ф. Иоффе. «Вряд ли у кого-нибудь хватило терпения ее прочесть, но зато она ярко иллюстрирует, что Рентген понимал

под изложением фактов»^{*}. А все прочие результаты шестнадцатилетних трудов Иоффе опубликовал только в 1923 году в виде краткой сводки, каждое слово в которой было обсуждено с учителем. Записи и рабочие тетради, содержавшие все результаты совместной работы, хранились у Рентгена в большом конверте с надписью «В случае моей смерти сжечь». Он говорил Абраму Федоровичу: «Понятно, что я не мог во время войны с Россией печатать труд совместно с русским»^{**}.

После смерти Рентгена в 1923 году этот конверт вместе со всеми хранившимися в нем материалами был сожжен душеприказчиками первого нобелевского лауреата. Рентген хотел завещать Абраму Федоровичу свой охотничий домик в Вальдхайме – единственное достояние, оставшееся у него после проигранной Германией войны. Но Россия к тому времени уже превратилась в СССР, лютого врага всяческой личной собственности.

Исключительная роль А.Ф. Иоффе в становлении советской науки широко известна; она описана в литературе во многих подробностях. Нет нужды еще раз пересказывать его послереволюционную биографию в этой статье. Основанный им институт (ленинградский Физтех) стал тем зерном, из которого выросло могучее древо российской физики. Как ученый, Иоффе находился под влиянием работы с Рентгеном в течение многих лет, и его собственная научная деятельность в период становления Физтеха во многом была предопределена исследованиями, выполненными им в мюнхенский период его жизни.

Иоффе служил советской власти не за страх, а за совесть, делая все, чтобы вывести отечественную физику на уровень ведущих научных держав Запада. Да и советская атомная

^{*} Иоффе А.Ф. Указ. соч. С. 21.

^{**} Там же. С. 22.

бомба была создана, в основном, трудами его учеников. Тем не менее, в черные времена «борьбы с космополитизмом» эта власть недогнувшей рукой отставила Абрама Федоровича от Физтеха. Суровой проработке подверглась и его фундаментальная монография «Основные представления современной физики», вышедшая незадолго до отставки. При ее обсуждении на ученом совете института его новый директор А.П. Комар не преминул попрекнуть Иоффе его сомнительным прошлым. Критикуя Абрама Федоровича за субъективно-идеалистический подход к квантовой статистике, он сформулировал это по-партийному: «Абрам Федорович воспитывался за границей. Абрам Федорович очень часто бывал за границей. Почти каждое лето (как он пишет в автобиографии) он ездил за границу, общался с зарубежными физиками, и это не могло не сказаться на всем мировоззрении Абрама Федоровича. И потому очень часто у Абрама Федоровича очень крупные идейные срывы, заключающиеся в том, что Абрам Федорович просто повторял то, что говорили за границей, и то, что абсолютно не вяжется с диалектическим материализмом»^{*}.

Лаборатория, которая была сохранена за ним как за академиком после вынужденного ухода с поста директора, через несколько лет была преобразована в Институт полупроводников. В оттепельные времена Иоффе не обходили почестями и наградами и даже предложили вновь возглавить Физтех, но он отказался. Соответствующее представление от Академии наук поступило за несколько месяцев до смерти Абрама Федоровича Иоффе. Теперь Петербургский Физико-технический институт носит его имя.

^{*} Архив ЛФТИ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 210. С. 89–90.

Гёттинген. Юрий Борисович Румер



Ярким представителем следующего поколения российских физиков был *Ю.Б. Румер* (1901 – 1985). Вся научная жизнь этого поколения прошла при советской власти. Но пора его студенчества пришлось аккурат на годы революции, Гражданской войны и сопровождавшей ее разрухи, которую внезапно сменил краткий период нэпа. И нет ничего странного в том, что в жизнеописаниях этих ровесников века встречаются весьма

неожиданные страницы. Однако биография Ю.Б. Румера поражает своим разнообразием даже на этом пестром фоне. Он был четвертым ребенком в семье московского купца Бориса Ефимовича Румера, успел закончить до революции реальное училище (экстерном) и поступить осенью 1917 года на математический факультет Петербургского университета. Но тут случился Октябрьский переворот, и учение в университете превратилось в такую же полную приключений авантюру, как и любая другая попытка выжить в стихии войн и революций. В случае Румера этот процесс растянулся на семь лет и закончился только в 1924 году. Переведясь весной 1918 года из Петербурга в Московский университет, поближе к дому, он тем не менее вынужден был прервать учебу, поскольку в условиях Гражданской войны регулярный учебный процесс был невозможен.

Его послужной список в период с 1918 по 1921 годы включает работу в должности управделами Московского института ритмического воспитания, преподавание на военно-

инженерных курсах, службу в Красной Армии (рядовым), обучение на курсах восточных языков при Военной академии Генштаба, работу в качестве переводчика при дипломатической миссии в иранском городе Решт, сопровождение эшелона с оружием для Кемаля Ататюрка в Турцию и дипломатической почты в Москву. В 1921 году Румер возобновил учебу в МГУ и окончил его через три года, как раз в разгар массовой безработицы. Еще два года он провел, подрабатывая статистиком в Госстрахе и преподавателем на рабфаках*.

В эти бурные годы Румер становится своим в литературных и театральных кругах. Юрий Борисович был связан семейными и дружескими отношениями с Илей Эренбургом, Осипом и Лилей Бриками. Он частый посетитель знаменитого жилища Бриков и Маяковского в Гендриковом переулке. Один из его родных братьев, Исидор, филолог и философ по образованию, некоторое время работает референтом Троцкого, второй, Осип – поэт и профессиональный переводчик с европейских и восточных языков. Ю.Б. – свой человек за кулисами театра Вахтангова, где он удостаивается прозвища Лапапид Турандотович. Его пародии на Маяковского, Гумилева, Ахматову гуляют по литературным салонам**.

Румер был связан дружескими узами и профессиональными интересами с математической школой Н.Н. Лузина в МГУ – знаменитой «Лузитанией», из которой вышли крупнейшие математики современности, начиная с А.Н. Колмогорова и П.С. Александрова. Но вектор его собственных научных интересов постепенно разворачивается от математики

* См.: Гинзбург И.Ф., Михайлов (Румер) М.Ю. и Покровский В.Л. Юрий Борисович Румер (к 100-летию со дня рождения) // Успехи физических наук. 2001. Т. 171. С. 1131–1136.

** К примеру, пародия на Н. Гумилева: «...Он вошел неслышной улитки, / Под пасхальный веселый звон, / Как люблю я белые нитки, / От зачем-то снятых погон».

к физике. Он начинает всерьез заниматься общей и специальной теорией относительности.

Мудрый папа Борис Ефимович с некоторой опаской наблюдал за бурной и разнообразной деятельностью сына. Сам он в это время пребывал на достаточно высоком посту в Наркомате промышленности и торговли, хотя занимался тем же самым делом, что и в царское время, – торговал льном. Чувствуя, что послереволюционной вольнице приходит конец и что литературный салон, где чекист сидит в качестве гостя и друга очаровательной хозяйки, отделяет от кабинета на Лубянке, где он полный властитель, всего лишь один неосторожный шаг, Румер-старший счел за благо отправить своего третьего сына доучиваться за границу, все в ту же Германию. Произошло это незадолго до заката нэпа – в 1926 году. Ю.Б. был командирован папиным наркоматом в Высшую политехническую школу в Ольденбурге, каковую и закончил в 1929 году. Однако после получения диплома он отправился не в Москву, а в Гёттинген, который в это время был местом сбора «кронпринцев и королей науки»*.

Роль Гёттингенского университета в европейской культурной и научной традиции уникальна. Не самый старый среди германских университетов, он был порождением эпохи Просвещения. Его либеральный устав был разработан бароном Герлахом Адольфом фон Мюнхгаузеном (не путать с его знаменитым однофамильцем Карлом Фридрихом Иеронимом!). В течение двух столетий этот университет оставался цитаделью университетских свобод, и прежде всего – свободного научного поиска. В Гёттингене воспитывалась и обучалась интеллектуальная элита Европы. Именно оттуда бедный Ленский привез плоды учености и кудри черные до плеч. Первым знаменитым физиком, преподававшим в Гёттингенском

* Гинзбург И.Ф., Михайлов (Румер) М.Ю. и Покровский В.Л. Указ. соч. С. 1132.

университете, был его питомец Георг Кристоф Лихтенберг. Ему мы обязаны техникой ксерокопирования, а во всевозможных сборниках типа «В мире мудрых мыслей» его блестящие афоризмы занимают одно из самых почетных мест.

Ю.Б. Румер появился в Гёттингене в то время, когда кафедре физики там занимал Макс Борн, тоже выпускник этого университета. За три года до того вместе со своими ассистентами Гайзенбергом и Иорданом он разработал матричный формализм квантовой механики, которым мы пользуемся и по сей день. Но главное его творение – это великая гёттингенская физическая школа. Кроме самого профессора и пяти ассистентов, составлявших ее костяк, туда входили многочисленные визитеры из ведущих европейских стран, США, Японии, эмигранты с неопределенным гражданством, такие, как венгерские евреи фон Нейман (будущий создатель первого компьютера) и Теллер (в будущем – отец американской водородной бомбы), а также Георгий Гамов, незадолго до того бежавший из СССР. Энрико Ферми – тогда еще правоверный подданный итальянского дуче – расхаживал по университету в черной униформе и наводил страх на своих робких соотечественников... Никто, впрочем, не придавал особенного значения политическим взглядам коллег, хотя залетному американскому профессору с официальной бумагой от губернатора его штата было немедленно указано на дверь, когда он отказался сидеть за столом с цветным – индусом Чандрасекаром, будущим знаменитым астрофизиком. Впрочем, американец показал себя невеждой и в своей основной специальности. Все эти молодые люди выдвигали новые идеи, горячо обсуждали их друг с другом, со своим профессором и со светилами с математического факультета, где в то время работал Давид Гильберт – один из величайших математиков всех времен и народов. Из обсуждений рождались работы, заложившие основы современной квантовой физики. Восхи-

тительная атмосфера полной академической свободы поразила Румера, не видевшего ничего подобного у себя на родине.

Ю.Б. Румер заявил о себе этому сообществу работой по пятиоптике – обобщению теории относительности на пять измерений, затеянной еще в Ольденбурге. Борн ее прочитал и рекомендовал к напечатанию в «Известиях Гёттингенской академии наук». После этого он сказал Румеру: «Я думаю, что Вы – состоявшийся человек. Конечно, будут трудности с Вашим посольством и с Вашим государством. Но я думаю, что если я попрошу моего друга Альберта Эйнштейна съездить в посольство и поговорить с послом, то можно будет добиться, что Вы сможете у меня работать»*.

Реакция Эйнштейна была более чем прохладной. Борну он написал, что работа эта его не интересует и не кажется уникальной, и он не считает возможным поехать в советское посольство, чтобы просить там о человеке, которого никогда не видал. А автору он сообщил, обратившись к нему «дорогой господин коллега», что работа ему совершенно не нравится, и высказал несколько критических замечаний (по словам Румера, часть его замечаний относились к утверждениям, которых в работе вовсе не было). Впрочем, Эйнштейн выразил готовность написать рекомендательное письмо, если «коллега» когда-либо будет претендовать на место ассистента или приват-доцента.

Через некоторое время в Берлин к Эйнштейну приехал его друг Эренфест, знавший все, что происходило в теоретической физике, и имевший мнение о каждой заметной работе, которое никогда никем не оспаривалось. Среди прочих новинок текущей литературы, о которых Эренфест счел нужным поведать своему другу, оказалась и та самая работа Румера по пятиоптике. Услышав теорию Румера в изложении

* «Рассказы Юрия Борисовича Румера» / Публ. И.Ф. Гинзбурга и М.Ю. Михайлова // Успехи физических наук. 2001. Т. 171. С. 1137–1142.

Эренфеста, Эйнштейн сказал: «Это действительно интересно. Кто этот человек?». Когда Эренфест объяснил Эйнштейну, что по поводу этого человека Борн написал ему письмо и прислал отпечаток его работы, Эйнштейн невозмутимо ответил: «Ну, милый мой, неужели ты думаешь, что я читаю чужие работы? А теперь я более-менее знаю, что там, так что пришли мне человека». Эренфест так и поступил, сопроводив приглашение переводом в 200 гульденов на дорогу, поскольку он подозревал, что в кармане у русского стажера лишних денег не водится.

Сочные детали визита Румера в Берлин к Эйнштейну, включая увиденный им в доме профессора огромный портрет Герцля и две копилки, в которые все посетители были обязаны что-нибудь опустить, «в зависимости от состояния», описаны в воспоминаниях Юрия Борисовича. Эйнштейн и Эренфест учинили Румеру перекрестный научный «допрос», и он вроде бы успешно защитил свою работу. Через некоторое время в Гёттинген пришло письмо из Лейдена, подписанное Эйнштейном и Эренфестом, с извещением о том, что Ю.Б. Румер на два с половиной года прикомандировывается к профессору М. Борну. В качестве полноправного сотрудника университета Румер сделал в соавторстве с будущими классиками квантовой физики Г. Вейлем, В. Гейтлером и Э. Теллером цикл работ по квантовой теории валентности*. Эти работы он также хотел показать Эйнштейну, но второй визит в профессорский дом оказался неудачным. Эйнштейн заявил Румеру: «Эта работа – рядовая работа. Там была идея, здесь идеи нет. И я не пойму – что вы от меня хотите. Это меня не

* Те же идеи, в несколько упрощенной форме, развил Лайнус Полинг в своей знаменитой теории резонансов, которую нещадно громили как лженауку в 50-е годы ревнители марксистского ортодоксального материализма и реабилитировали после смерти Сталина, когда она удостоилась Нобелевской премии по химии (1954).

интересует». Работы, которые тогда не заинтересовали Эйнштейна, лежат в основе всей современной квантовой химии.

Стипендия Лоренца, полученная Румером по рекомендации двух великих физиков, окончилась в 1932 году, и он вернулся в Москву в «гёттингенском облике». Новый этап жизни Ю.Б. Румера начался блестяще. Он был избран профессором МГУ по рекомендации Эйнштейна, Эренфеста, Борна и Шредингера, и параллельно был принят на работу в тот же ФИАН. Еще в Гёттингене он познакомился с Л.Д. Ландау, и это знакомство превратилось в сотрудничество, когда Ландау из Харькова перебрался в Москву. Румер и Ландау успели сделать две совместных работы, и тут разразилась катастрофа. 28 апреля 1938 года Ландау арестовали по делу об антисталинской листовке, а за компанию взяли и Румера. Ландау был выпущен из лубянского застенка через год благодаря мужественному и умелому заступничеству П.С. Капицы, а Румер отсидел все положенные ему десять лет. Правда, срок свой он провел не в лагере, а в знаменитой «шараге» – авиапроектном КБ, где отбывали свои сроки А.Н. Туполев, С.П. Королев, И.Г. Неман, Б.С. Стечкин, В.П. Глушко, В.М. Петляков, Р.Л. Бартини и другие будущие гранды отечественного авиа- и ракетостроения. Блестящее общество, не хуже гёттингенского.

Потом прошли пять лет ссылки, а после реабилитации было получено разрешение поселиться в Новосибирске. Когда построили знаменитый Академгородок, Ю.Б. Румер был принят на работу как «местный кадр» и даже стал директором одного из академических институтов.

Свое «гёттингенство» Ю.Б. пронес через все годы заключений и ссылки. Он не прекращал работы по пятиоптике, когда-то получившие одобрителный отзыв Эйнштейна. Еще досиживая свои пять лет в Енисейске, он получил вызов в Москву. Теоретические рукописи Румера стараниями его жены попали в руки Ландау в 1948 году, и его московским

друзьям удалось организовать их публикацию в «Журнале экспериментальной и теоретической физики» и обсуждение на семинаре.

Увы, физическое сообщество во главе с Ландау не признало конструкцию Румера истинным прорывом в теории поля*. Румер оставил надежду вновь войти в элиту теоретической физики и не вернулся в Москву после реабилитации. Остаток жизни он провел в новосибирском Академгородке. Счастливики, слышавшие в 60-е годы его необыкновенные истории в «Кофейном клубе» или в тесных комнатках студенческих и аспирантских общежитий, имели редчайшую возможность напрямую ощутить подлинный гёттингенский дух (*Zeitgeist*) в те времена, когда в самой Германии от него не осталось и следа.

* * *

«Корабли философов» навсегда увозили в Европу старую российскую интеллигенцию, но физиков на них не было, потому что их практически не было среди старой интеллигенции. Физики в большинстве своем явились из разночинной и еврейской среды на рубеже столетий, когда новые социал-демократические веяния с быстротой пожара распространялись среди «прогрессивной общественности», и в особенности среди студенчества. Как правило, физики не были склонны к крайностям и редко примыкали к большевикам, но, безусловно, разделяли идеалы социал-демократии и, главное, испытывали чувство вины перед «народом», столь харак-

* Идеи 20-х годов о наличии скрытых измерений пространства-времени получили свое развитие в современной теории струн. Правда, дополнительных измерений в этой теории насчитывается гораздо больше – 7 или 22 в различных ее вариантах. В обзорных работах по калибровочным теориям работы Ю.Б. Румера упоминаются наряду с трудами других отцов-основателей – Калузы, Клейна, Фока.

терное для дореволюционной интеллигенции. У них не было иммунитета против уравнилельной революционной идеологии.

Новая власть разделила старую интеллигенцию на «контуру», которую искореняла, «попутчиков», которых терпела до поры до времени, и «спецов», чьими услугами пользовалась. Физики проходили по этому третьему разряду. В отличие от гуманитариев, они нашли себе нишу в советской иерархии. И хотя у большинства из них иллюзии относительно большевистских властей рассеялись очень скоро, в целом они были склонны искать в новом устройстве бывшей Российской империи положительные стороны. Науку советская власть поддерживала, и еврейское происхождение при условии политической лояльности «спеца» не мешало его профессиональной карьере.

В этом очерке мы вкратце описали биографии трех выдающихся физиков-евреев, в жизни которых Германия оставила заметный след. В действительности, практически все выдающиеся представители первых двух поколений советских физиков прошли стажировку в ведущих странах Западной Европы и вернулись в СССР, в основном, по своей воле. Исключительные случаи («пленение» Капицы, побег Гамова), конечно, не подтверждают это правило, но и не меняют общей исторической картины.

В большинстве своем евреи из местечек, вложившие свои недюжинные интеллектуальные способности в создание блестящей физической школы в СССР, были в молодости борниками социальной справедливости, а в зрелые годы стали типичными «спецами». Именно в таком виде они были востребованы новой властью. Она получила от них то, что хотела, и воздала им за это так, как считала нужным.

ЛУИ РАПКИН, ПОСЛЕДНИЙ УЧЕНИК БАРУХА СПИНОЗЫ

*J'ai tant d'amour et
pourtant des choses**

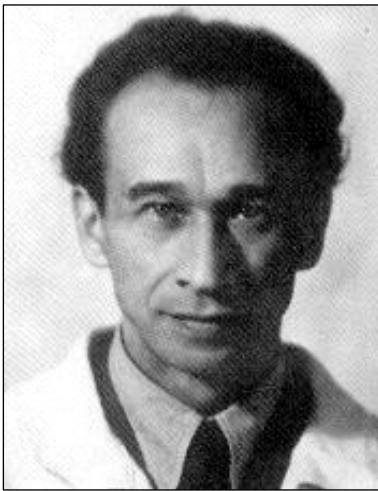
Попробуйте вообразить себя французским ученым, ну, скажем, физиком или биологом средних лет с высокой репутацией в академических кругах и более чем солидным положением в одном из ведущих парижских научных центров... в черную осень 1942 года. Наци в Париже, большая часть Франции под их пятой. Они захватили почти всю континентальную Европу. Немецкие танки утюжат северную Африку, и где-то на востоке, почти на границе с Азией, они, по видимому, добивают русских. А вы, допустим, еврей, и ваши ближайшие жизненные перспективы вырисовываются перед вами с беспощадной ясностью.

И вдруг вам сообщают, что относительно вашей судьбы и судьбы ваших близких у кого-то имеются совсем иные планы. Вам со всей семьей помогают добраться до одного из средиземноморских портов, помогают погрузиться на корабль, заполненный беженцами, и вы пересекаете Атлантику. В нью-йоркском порту вас встречает человек, с которым вы были слегка знакомы в довоенной мирной жизни. Вам помогают оформить документы, без которых беженец ни шагу не может ступить в Новом Свете. В Америке – почти забытое изобилие, и жизнь кипит, хотя многие работают на оборону. Вас ожидает работа по специальности, вашим близким тоже помогают получить работу или продолжить учебу. Оказывается, что вы не один такой счастливец. Еще несколько

* У меня было столько любви и к столь многим вещам (надпись на надгробном памятнике на могиле Луи Рапкина).

ваших парижских коллег, и не обязательно еврейского происхождения, были вызволены подобным же образом. Это похоже на сказку, но тем не менее это несомненная реальность.

Что за могущественная сила перенесла десятки ученых через океан и волшебным образом спасла одних от неминуемой мучительной гибели, а других вернула к полноценной профессиональной деятельности? Какая организация сумела в беспросветной ночи почти восторжествовавшего нового нацистского мирового порядка столь блестящим образом организовать под носом у оккупационных властей перемещение и устройство стольких математиков, физиков, биологов мирового ранга и их семей? И какие имена... Адамар! Перрен! Бриллюэн! Оже! Леблон! Вюрмсер! Леви-Стросс!.. Организация эта состояла из одного человека, и звали его *Луи Рапкин*. В 1942 году ему было тридцать восемь, и впереди у него оставалось еще шесть лет жизни.



Луи Рапкин

окраины Российской империи на рубеже веков. Во Франции Рапкины задержались ненадолго и через два года пере-

Перед войной французский биохимик Рапкин работал в Институте Пастера. За плечами у него – три (!) эмиграции. Рожденный в белорусском местечке под Минском, он был увезен родителями во Францию в семилетнем возрасте в 1911 году. Отец его, еврейский портной, покинул черту оседлости в поисках лучшей доли на гребне волны эмиграции, поднявшейся после погромов, которые охватили западные

брались в Канаду, во франкоязычный Монреаль. Нелегкая эмигрантская жизнь скрашивалась теплыми отношениями, царившими в семье Рапкиных. Луи был любимым ребенком, физически развитым, темпераментным и любознательным. Стипендии помогли ему успешно закончить школу, а скопленные отцом небольшие средства – поступить на медицинский факультет университета McGill. Прочувшись на факультете два года, Луи в один прекрасный день огорошил родителей просьбой разрешить ему использовать деньги, отложенные на его образование, на то, чтобы продолжить учебу во Франции. Именно там, по его мнению, происходили важнейшие события в избранной им науке – биологии.

Мировая экономическая ситуация в начале 20-х годов как нельзя более благоприятствовала проекту Луи – доллар стоил 25 франков, и можно было надеяться, что при экономной жизни имеющихся средств хватит, чтобы завершить учебу в Париже. После долгих колебаний родителипустили сына, и мать, которая очень его любила, сама засела за учебу. Она была малограмотна и теперь решила выучиться писать, чтобы иметь возможность общаться с сыном через океан. И вот двадцатилетний Луи Рапкин – в Париже. Он записывается на интересующие его курсы в Сорбонне и получает наконец возможность утолить свой интеллектуальный голод. Но зато его подстерегает голод реальный – ведь практически все родительские доллары ушли на то, чтобы пересечь Атлантику. При этом ему пришлось устроиться мойщиком посуды в камбузе, чтобы покрыть дорожные расходы. Да и в Париже он по утрам подрабатывает в обувном магазине на самых черных работах. Уплатив за жалкую меблированную комнатку, Луи остается до следующего месяца с полсотней франков в кармане, и нередко ему приходится решать: купить кусок хлеба с сыром или пойти в душ. Выбор, как правило, делается в пользу душа... А до следую-

щей полочки он дотягивает с помощью глюкозы из лабораторных запасов. Опыт литературного персонажа из гамсунковского «Голода» становится его собственным опытом. Но зато он имеет свой угол в лаборатории профессора Переса и право заниматься тем, чем он считает нужным.

То, чем интересуется двадцатилетний канадец, в середине двадцатых годов еще не имеет установившегося названия, но в скором будущем превратится в биофизику и биохимию. Предметом его интереса становится эволюция живых клеток. В письме домой он описывает свои ощущения начинающего исследователя: «Наблюдать живые клетки ... разбираться в том, что происходит внутри них. Я чувствую себя таким крошечным перед клеткой, этой загадочной вселенной... Бог мой! Я надеюсь, что моя мечта осуществится! Создавать, открывать неизвестное и помогать другим делать то же». Давайте запомним эти строчки, они помогут нам понять необыкновенную жизнь этого человека.

Французские наставники Луи Рапкина довольно быстро оценили приверженность юноши к научным исследованиям и качество его первых экспериментов. На втором году учебы в Сорбонне ему было предложено подать на стипендию Рокфеллеровского фонда. Юноша долго колебался. Всегда готовый помогать другим, сам он принимал помощь крайне неохотно. Он полагал, что *Rockefeller Foundation* – это какая-то благотворительная организация, и категорически не желал просить милостыню у кого бы то ни было. Лишь получив исчерпывающее объяснение о механизме присуждения стипендий на исследования, он заполнил соответствующие формы и через некоторое время стал Рокфеллеровским стипендиатом. Теперь он мог позволить себе перебраться в только что отстроенный корпус общежития для канадских студентов, *Maison Canadienne*, в университетском городке между парком Монсури и Орлеанскими воротами, обновить

свой донельзя обветшавший гардероб, посещать концерты классической музыки... и от стипендии кое-что еще оставалось, чтобы помочь нуждающимся студентам.

Летний семестр 1925 года Рапкин провел в Бретани на береговой научной станции Роскофф, изучая эволюцию яиц морских ежей. Вскоре после этого он получил приглашение от профессора Рене Вюрмсера в его лабораторию в Школе высших исследований (*Ecole des Hautes Etudes*). Во время последующих визитов в Роскофф человеческие и научные качества Луи Рапкина были по достоинству оценены британским научным сообществом. Он свел знакомство со многими английскими учеными и, в частности, с биохимиком Дж. Нидхэмом, который впоследствии стал выдающимся историком науки и китаеведом. Нидхэм пригласил его в Кембридж и представил самым именитым кембриджским профессорам того времени – Резерфорду, Эддингтону и другим. Научная репутация Рапкина во Франции тоже быстро укреплялась, на материале некоторых своих экспериментов по делению клеток он сделал доклад во Французской Академии. В 1930 году лаборатория Вюрмсера и Рапкина вошла в состав вновь образованного Института физико-химической биологии, и Рапкин был назначен заместителем директора отдела биофизики.

Жизнь, по всей видимости, вошла в регулярное русло. В 1929 году Луи съездил в Канаду и привез оттуда жену, Сару Меламуд, с которой он дружил с детства. В перспективе была успешная научная карьера, красивые эксперименты, ученики, академические регалии – нормальные радости и тревожения ученого, занимающегося делом, к которому он призван. Один из самых заметных результатов Рапкина по биохимии разделения клеток был, как это называется, «одновременно и независимо» получен крупным английским биохимиком Фредериком Хопкинсом, директором биохимической лаборатории Кембриджского университета. Когда

сэр Хопкинс узнал о работе Рапкина, он задержал свою публикацию, чтобы молодой ученый мог утвердить свой приоритет. Впоследствии они сблизились, и Хопкинс неоднократно отмечал фундаментальную важность работ Рапкина по функционированию клеток.

Наступил год тысяча девятьсот тридцать третий. В Германии к власти пришли национал-социалисты, и вскоре в немецкой науке повеяли новые холодные ветры. Этническая принадлежность профессоров, о которой никто не думал в Германии уже лет пятьдесят со времен затеянной Бисмарком научно-технической революции, принесшей Германии экономическое могущество, вдруг стала предметом повсеместного пристрастного обсуждения. В университетах начались чистки по расовым признакам. Канадский подданный российского происхождения, еврей Луи Рапкин немедленно создает Французский комитет по приему и организации работы для иностранных ученых (*Le Comité français pour l'accueil et l'organisation du travail des savants étrangers*). Не по спасению несчастных еврейских «лишенцев» от притеснений и унижения (о планах «окончательного решения еврейской проблемы» в то время за рубежами Германии еще никто не подозревал), а по профессиональному трудоустройству первоклассных специалистов в научных учреждениях Франции. В комитет входили многие из именитых друзей Рапкина, но именно Луи и его жена Сара делали все необходимое для приема и организации работы: беседовали с каждым беженцем, внимательно изучали его персональную ситуацию, старались подыскать ему такое место, чтобы его профессиональный опыт не пропал и возможности были реализованы наилучшим образом, помогали получить официальный статус, используя свои связи в государственных организациях, искали частные источники финансирования. Комитет сумел принять более тридцати ученых из Германии, Австрии, Испании и Португалии... При этом сам Рап-

кин оставался во Франции иностранцем вплоть до 1937 года, когда он, наконец, принял французское гражданство.

Луи Рапкин был прекрасно осведомлен о французской ксенофобии. Он писал своему другу Нидхэму: «Здесь все научные учреждения, кроме нашего Института биологии и Института Пастера, закрыты для не французов. Когда я говорю “закрыты”, я имею в виду невозможность получить в них постоянное место. Да и Институт Пастера в последнее время становится ужасающее враждебным к иностранцам и даже в большой степени антисемитским». Но Рапкин делал то, что он считал нужным, стараясь не афишировать эту сторону своей жизни и не обращая внимания на тягостную политическую и психологическую атмосферу во Франции, да и во всей Европе. Свои этические и моральные принципы он унаследовал от родителей. Он рассказывал о своем деде, который в ледяную российскую зимнюю ночь подобрал пьяного крестьянина, лежавшего посреди улицы, дотащил его до своего дома, отогрел, привел в чувство, накормил и только после этого отправил восвояси.

В те же предвоенные годы, когда Рапкин развернул свою первую гуманитарную акцию, он сделал свои самые яркие работы по механизмам каталитической активности ферментов. К концу тридцатых годов он был автором трех с лишним десятков первоклассных научных статей, имел устойчивую репутацию одного из ведущих биохимиков Франции, и его авторитет в научном сообществе по обе стороны Атлантического океана был весьма высок. Но миссия, которую он принял на себя, отнимала все больше сил, и все больше времени ему приходилось проводить не в своей любимой лаборатории, а в переговорах с официальными и частными лицами, которые помогали ему в его тайной деятельности.

«Странная война» и вторжение германских армий во Францию застали его в Англии. Рапкин использовал создавшуюся ситуацию так, как мог сделать только он. Он стал

первым ученым, мобилизовавшим себя на борьбу за освобождение Франции, и на избранном им фронте был поначалу единственным офицером и бойцом. Созданное им Научное бюро имело ту же цель, что и Французский комитет, организованный семью годами раньше, – спасение и профессиональное устройство ведущих ученых, теперь уже французских, в научных организациях стран антигитлеровского блока. Рапкин связался с генералом де Голлем, который принял его Бюро под эгиду Свободной Франции. Рокфеллеровский фонд и другие американские организации обеспечили финансирование Бюро со стороны США, и механизм заработал. 11 декабря 1941 года Рапкин получил от французского правительства в изгнании телеграмму с подтверждением об официальном статусе его Бюро, и через несколько дней представил первый список лиц для получения разрешения на въезд в Соединенные Штаты.

Возможности, которыми располагал Рапкин, были весьма велики. Научное бюро действовало в США и Канаде. Государственный департамент в Вашингтоне и лондонский *Foreign Office* оказывали ему твердую поддержку, при том, что Рапкин ни в коей мере не принадлежал к сильным мира сего. Фактически он был такой же изгнанник, как и те, кого он теперь пытался спасти. Никаких шансов продолжать научную работу в своем институте он не имел. Гестапо занесло Рапкина в свои черные списки, и люди в немецкой военной форме наведывались в его пустующую парижскую квартиру (жена и дочь в это время уже перебрались в демилитаризованную зону на юг Франции). Все могущество Бюро основывалось на личных качествах и организационных способностях этого удивительного человека. Рапкин действовал так, как если бы имел статус аккредитованного дипломата, он был своего рода частный посол, связи которого простирались от официальных учреждений стран антигитлеровской

коалиции до ячеек французского Сопротивления и тайных убежищ, где прятались евреи, спасшиеся от депортации в Рейх.

В безжалостной мясорубке войны гибли солдаты и мирные жители, счет погибших и вывезенных в концлагеря шел на десятки и сотни тысяч, армиям Гитлера и его союзников на континенте противостоял только Советский Союз и партизаны в балканских горах. А Луи Рапкин составил список из пятидесяти семи человек и пытался выволить каждого из них вместе с семьей, найти для него индивидуальный путь к спасению. На фоне гибнущих государств и миллионов оптовых смертей он неуклонно и спокойно выполнял *свою* миссию. Бюро не прекратило деятельность и тогда, когда последний из списка ступил на американскую землю. Ведь миссия заключалась не только в том, чтобы спасти ученых, но и в том, чтобы обеспечить им возможность работать в науке. И Рапкин посещал офисы, университеты и институты, добывал паспорта и другие необходимые документы, требовал, доказывал и убеждал. Перед силой его характера, твердостью и искренностью устоять не мог никто. Один из высоких американских чиновников в раздражении спросил у Рапкина:

– А *вы* не хотите получить американское гражданство?

– Послушайте, – немедленно ответил Рапкин, – я родился в России, воспитывался в Канаде, потом натурализовался во Франции. Вы что, будете меня больше уважать, если я еще раз сменю национальность, как костюм?

Жена и дочь Рапкина после опасного путешествия по оккупированным и нейтральным территориям и длительного плавания через океан на корабле, заполненном беженцами из поверженной Европы, оказались в Нью-Йорке, который был центром активности Научного бюро и где собирались все ученые, вызволенные Рапкином, его помощниками и агентами. Квартирка на 83-й улице Манхэттена, снятая к их приезду, быстро превратилась в пункт по приему научных

беженцев. Луи Рапкин лично встречал каждый пароход и каждый самолет, привозил эмигрантов к себе, помогал с первоначальным обустройством в новом незнакомом мире. Людям, потерявшим родину, видевшим смерть вблизи, лишившимся многих родных и близких, испытавшим горечь поражения и разрушения всего векового уклада жизни, не так-то просто было привыкнуть к неизбывному американскому оптимизму и несокрушимой вере в то, что все будет о'кэй, выходить на улицы, заполненные энергичными людьми, не спеша заходящими в магазины с яркими витринами и не боящимися внезапной бомбежки. Рапкин, помогший им добраться до Нового Света, был для них фигурой всемогущей, почти мифической. По его слову открывались двери во все департаменты, выдавались документы, находились места в университетах и исследовательских центрах...

А ведь Луи Рапкин был всего лишь *один из них* – не побоявшийся взять судьбу в свои руки и взвалить на себя миссию исправления других судеб. Сверхзадачей Научного бюро и его руководителя стало сохранение целостности французской научной колонии. Он был душой этого маленького сообщества и делал все, чтобы предотвратить растворение своей маленькой группы в обширном мире американской науки, питавшей в себя огромное число эмигрантов из всех стран.

Впрочем, могущество Рапкина не было абсолютным. Правительство США резко ограничивало доступ иностранцев к оборонным работам, опасаясь проникновения шпионов (как мы теперь знаем, опасения были более чем обоснованными, хотя выяснилось это обстоятельство много позже, когда началась гонка за обладание атомным и ядерным оружием). И здесь кончались возможности Луи Рапкина, хотя среди его протеже было немало специалистов в областях, имевших отношение к будущему Манхэттенскому проекту. Некоторые из них (Бертран Гольдшмидт, Жюль Герон, Франсис Перрен, Станислас Винтер) после войны вошли в руководство

Французского комиссариата по атомной энергии. Группа специалистов по цепным ядерным реакциям стараниями Рапкина была включена в англо-канадскую ядерную программу, базировавшуюся в Монреале, но после того, как Манхэттенский проект вобрал в себя все остальные ядерные программы союзников, французам не нашлось в нем места...

Все эти события происходили в 1943 году. После успехов русских в Сталинграде, американцев в Салерно и англичан в Эль-Аламейне, когда стало ясно, что ход войны переломился в пользу стран антигитлеровской коалиции, приоритеты в проекте Рапкина изменились. Теперь речь уже не шла о спасении, выживании и трудоустройстве. В качестве конечной цели было намечено восстановление научного потенциала Франции, катастрофически пострадавшего в результате нацистской оккупации. В 1944 году группа Рапкина начала постепенно перебираться обратно через океан, в Англию, где по его инициативе возникла новая организация, *French Scientific Mission in London* (Французская научная миссия в Лондоне). Помимо участия в государственных научных программах Великобритании, она ставила своей задачей подготовку научных исследований в будущей послевоенной Франции.

Вернувшись в Париж вместе с союзными армиями, Луи Рапкин начинает новый этап своей деятельности в Институте Пастера и немедленно приступает к решению этой задачи. Рокфеллеровский фонд, который поддерживал Рапкина в течение всей его научной деятельности, способствует реализации его новых инициатив. Осенью 1945 года Рапкин получает от Фонда гранты на приобретение современного научного оборудования и на организацию международных конференций. В отчете о работе Французской научной миссии он не только описывает ее деятельность в последние военные годы, но и выдвигает план реорганизации всей системы научно-исследовательской работы во Франции. Многие из идей, вы-

сказанных в этом отчете, действительно были реализованы во время реформ, проведенных в конце пятидесятих годов.

Французская республика награждает Рапкина орденом Почетного Легиона. Наконец можно вернуться к любимой работе, от которой он самоотверженно отказался шесть лет назад во имя принятой на себя миссии. Но судьба вполне беспристрастна и безжалостна к смертным. Рапкин был завзятый курильщик, то, что у англичан называется *chain smoker*. Его жизнь во Франции и затем в эмиграции требовала постоянно го напряжения всех духовных и физических сил. Медицина знает, что предельно мобилизованный организм обладает повышенной сопротивляемостью к болезням. Они, однако, ждут своего часа и набрасываются на человека, когда напряжение спадает. Вскоре после победы стали появляться первые симптомы болезни, и рак легких, бич всех курильщиков, унес Луи Рапкина в могилу 13 декабря 1948 года в возрасте сорока четырех лет. Похоронен Рапкин на Парижском кладбище *Montrouge* неподалеку от *Maison Canadienne*, в котором он провел самые, быть может, счастливые годы своей недолгой жизни.

Конечно, Луи Рапкин был не единственным праведником последней мировой войны. Множество частных лиц и организаций участвовало в спасении людей, которых нацистский режим намеревался уничтожить по политическим, идеологическим и расистским соображениям. Среди самых активных организаций этого рода был Чрезвычайный комитет спасения (*Emergency Rescue-Committee*), который создал в Марселе В. Фрай. К сотрудничеству в этом комитете он привлек большую группу известных американских либералов и многих представителей европейской элиты. В числе тысячи двухсот спасенных этим комитетом деятелей европейской культуры были Марк Шагал, Андре Массон, Конрад Хайден, Макс Эрнст, Ванда Ландовска, Жак Липшиц, Генрих Манн и многие другие. На этом фоне список Рапки-

на из пятидесяти семи фамилий, может, и не столь впечатляюще, даже если иметь в виду имена вошедших в него выдающихся ученых, упомянутых в начале этой статьи. Конечно, если вы пишете многотомную историю мировой войны и следите с высоты птичьего полета за перемещением или гибелью огромных масс людей, попавших в шестеренки чудовищной военной машины, то «список Рапкина» останется незамеченным, так же, как и «список Шиндлера» до того, как на него упал волшебный луч кинематографа. Но для каждого человека, попавшего в эту самую историю, масштаб исторических событий определяется тем, что случилось с ним самим и его близкими. *Sub speciae aeternitatis*, с точки зрения вечности, история солдата значит несколько не меньше, чем история армии.

В книге мемуаров о Луи Рапкине* собраны свидетельства многих из тех, чьи жизни были спасены его усилиями и чья судьба определилась знакомством или дружбой с этим человеком. Почти все эти люди, не сговариваясь, называют его святым либо апостолом. *Apostolos* по-гречески означает «посланник». Но если вы зададитесь вопросом, чьим посланником был Луи Рапкин, то ни один из стандартных ответов не выглядит убедительным. Рапкин, по-видимому, не был религиозен в традиционном смысле слова. Вопросы об устройстве мира и месте человека в нем были в центре интересов Рапкина, но ответ на эти вопросы он искал прежде всего в сфере науки. Вспомним, что первым предметом его научных исследований была клетка – элементарная ячейка, в которой возникает «живое». Клетка для него была равновелика вселенной. Но изучение подробностей биохимии деления клеток Луи Рапкин считал неотъемлемой частью иссле-

* Louis Rapkine. The Orpheus Press, North Bennington, Vermont, 1988. Все письма и воспоминания в данном очерке цитируются по этой книге.

дования мироустройства в целом. Среди трудов Рапкина есть и «Заметки по научной теории эстетики». В этих заметках он применяет идеи термодинамики необратимых процессов, управляющие закономерностями эволюции неживой и живой природы, к художественному творчеству. С его точки зрения работа художника или музыканта есть акт, направленный против необратимости времени и противостоящий мировой термодинамической тенденции к старению и разрушению. Физическое и умственное состояние музыканта в момент исполнения великой музыки Баха или Бетховена реализует на несколько мгновений тот высший порядок, который этой музыкой зафиксирован и озвучен.

Друзья замечали в характере Рапкина необыкновенную смесь идеализма и реализма. Но для самого Луи Рапкина никакого зазора между абстрактными идеалами и конкретными практическими поступками, по-видимому, не существовало. Он просто поступал в соответствии с этими идеалами. Именно эта кажущаяся простота *правильного* поступка недоступна большинству из нас. Потому-то Рапкин и казался святым многим своим друзьям, хотя сам он никакого нимба над челем не ощущал и никогда ни в малейшей степени не вел себя, как знаменитость или *Very Important Person*.

Леон Эдель, канадский журналист, а позднее – известный литературовед и биограф Генри Джеймса, друживший с Рапкином еще с полуголодных студенческих лет в Париже, пишет: «Я всегда замечал в Рапкине странную смесь невинности и высокоумия. В ранней молодости он открыл для себя Спинозу и принял его в качестве жизненной модели... Было нечто в его воспитании, что предохраняло его от самодовольства или интеллектуального снобизма, которые нередко являются спутниками “высоколобого” интеллектуализма, – возможно, это шло от глубоко прочувствованной еврейской традиции, воспринятой еще в хедере. Она стала

основой, на которую он мог опереться, приступив к чтению Платона и Спинозы. Полировщик линз Барух Спиноза воспламенил его ум идеями, что все конечное является неотъемлемой частью бесконечного, идеями целостности, равновеликости материальной и духовной жизни и неделимости пространства». В письме своему другу Солу Мюльштоку, датированном 2 января 1934 года, Рапкин писал: «Любой человек может представить себе, что существует некто, *более совершенный*, чем он, или другими словами, всегда можно вообразить индивидуума, находящегося в большем равновесии с природой и ее законами, чем ты сам. К этой категории я отношу таких людей, как Спиноза, Бах, Шекспир, некоторых из еврейских пророков... Пока я нахожу мои научные методы гораздо менее адекватными, чем, скажем, методы Спинозы ... но я надеюсь, что, усовершенствуя ум и сердце, я когда-нибудь смогу достичь этих высот».

Спиноза, проведший всю свою жизнь в Амстердаме, был тем не менее внутренним эмигрантом. Подвергшийся *херему* (отлучению – *ивр.*) и изгнанный из еврейской общины за вольномыслие, он не стал изгоем и не отпал от Бога. Он просто вел с ним свой собственный диалог. «Геометрический метод», которым Спиноза обосновывал свои богословские, политические и этические взгляды, был для него инструментом познания целостного и неделимого мира. «Теоремы» спинозианской этики многое объясняют в мировоззрении и биографии Луи Рапкина:

- Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлениях не о смерти, а о жизни.
- Человек, живущий по руководству разума, стремится, насколько возможно, воздавать другому за его ненависть, гнев, презрение к себе и т.д., напротив, любовью и великодушием.

- Сострадание в человеке, живущем по руководству разума, само по себе дурно и бесполезно*.

Эта последняя максима, возможно, кажется парадоксальной, но именно она помогает понять направленность гуманизма Рапкина. Если и можно назвать Рапкина чьим-нибудь апостолом, то человек, пославший его с миссией, звался Барух Спиноза.

Свое сострадание к жертвам нацизма Луи Рапкин проявлял максимально конкретно и целенаправленно. Для него гуманитарная деятельность по спасению ученых была естественным продолжением его научной работы, и подчинялась она тем же принципам целостности познаваемого мира. Не партизанская война с кем получится, не негодующая публицистика в союзной прессе или участие в международных комитетах, а четкая и, что очень важно, реализуемая программа действий. Никаких деклараций и петиций. Он просто составил список, продумал методы работы и последовательно реализовывал программу, пока все люди, поименованные в этом списке, не оказались там, где должны были оказаться. Тридцать девять научных статей и несколько десятков спасенных ученых и членов их семей – это *личный* вклад Луи Рапкина в борьбу с мировым хаосом и силами разрушения. И это не так мало перед лицом вечности.

А срок жизни, отмеренный Спинозе, был тот же, что и у Рапкина. Барух Спиноза умер от наследственного туберкулеза в возрасте сорока пяти лет.

* Спиноза Б.. Избранные произведения. М., 1957. Т. 1.

ОБЕТОВАННЫЕ НИЗКИЕ ЗЕМЛИ

Нидерланды как сионистский проект^{*}

Подлетая в сгущающихся летних сумерках к этой стране со стороны моря, вы видите перед собой ровную линию песчаных дюн, уходящую за горизонт вправо и влево. Чуть отступя от берега, россыпи городских огней образуют почти непрерывную полосу, которая повторяет береговую линию и кое-где выходит к кромке моря. За несколько минут самолет пересекает светлую полосу и слабо освещенное пространство за ней и вскоре приземляется в международном аэропорту. Порт этот находится примерно на полпути между двумя столичными городами страны, чуть ближе к неформальной «светской» ее столице. Аэропорт Бен-Гурион? Нет, нет, он отзывается на хриплую кличку Схипхол. Вы приземлились в северной Голландии, одной из двенадцати провинций страны, название которой на разных европейских языках означает одно и те же: *Niederlande*, *The Netherlands*, *Pays Bas*, *Neerlandes* – Низкие Земли.

Если на минуту забыть про тебя, Иерусалим, то сходство географических реалий двух стран простирается весьма далеко. У нас – Гуш Дан, скопление городов в центре страны, вытянутое вдоль берега от Хадеры до Бат-Яма и загибающееся от моря в сторону Гедеры. У них – Ранстадт, такое же скопление прибрежных городов и городков от Хаарлема до Роттердама, загибающееся от моря в сторону Дордрехта. У нас отдаленный крайний север – Галиль, у них – Фрисландия. У них отдаленный крайний юг – Маастрихт, в предгорьях Арденн, наш дальний юг – Эйлат, на пороге Африки. Морское побережье и у нас, и у них – дюны. Песочек в дюнах

^{*} При написании этой главы автор широко пользовался материалами, собранными и осмысленными в монографии S. Schama «The Embarrassment of Riches». [США], 1987.

одинаково мелкий, но только цвет их моря – от серого до серо-зеленого против нашего зелено-изумрудного.

Но если не забыть про тебя, Иерусалим, то где голландцы и где евреи? Низкие Земли утратили почти всех своих евреев в огне последней мировой войны. Местные чиновники со свойственной им голландской аккуратностью заносили в подробные реестры всех жителей своих городов и городков, так что палачам оставалось взять эти списки и проехаться по адресам. Что и было исполнено с немецкой тщательностью... Кажется, только и осталось в Нидерландах евреев, что в тамошних музеях на картинах и офортах Рембрандта, избравшего своим последним местожительством дом на Йоден-бреестраат, напротив внушительной Португальской синагоги в ныне не существующем еврейском квартале.

История, однако, горазда на неожиданные, но поучительные параллели. Все знают или слышали про Золотой век, в который Нидерланды вступили, выстояв в жестокой 80-летней войне с могущественной Испанской империей Габсбургов и завистливыми ближайшими соседями. Но что помогло им выстоять, помимо национальной крестьянско-рыбацко-бюргерской упертости? Ниже мы попытаемся ответить на этот вопрос.

Нидерланды и народы, их населявшие, со времен античности существовали особняком от остальных европейцев. Голландцы возводили свою национальную мифологию к батавам, населявшим дельту Рейна во времена римских завоевательных походов в северную Европу. Батавы, в отличие от соседних туземных племен, показали себя доблестными воинами как в союзе с Римом, так и в восстании против него (знаменитый «заговор Цивилиса»). Практичные римские полководцы предпочли не облагать батавов поборами и налогами, как другие побежденные племена, а привлечь их на военную службу. Батавы храбро воевали на всех границах империи, и со временем вся пассионарная часть племени полегла в бесконечных имперских походах и междуусобицах. Те же,

кто остался в междуречье, растворились в среде окрестных франкских племен. Но подкрепленная сведениями из тацитовых *Анналов* легенда о древних воинственных жителях Низких Земель, не склонивших головы перед Римом, сохранилась в исторической памяти голландцев.

Во времена развитого феодализма Нидерланды тоже радикально отличались от своих соседей. В нормальных европейских странах феодалы сидят в своих замках, имея в вассальной зависимости дворянскую конницу, и тягаются друг с другом за сферы фискального и военного влияния, а бурги призывают этих владетелей с их дружинами на защиту своих стен и привилегий в случае внешней угрозы. Но Низкие Земли – это заливные луга, болота, озера, полдеры, все они находятся ниже уровня моря, сообщение между городами идет преимущественно по рекам и каналам, а сухопутные дороги в основном проложены по дамбам. Владетельному графу с его конницей развернуться решительно негде. Поэтому феодальная знать в этих землях никогда не имела серьезного политического веса, в отличие от городского патрициата.

Так и сложилось, что жизнь в Низких Землях, еще в те времена, когда они были окраиной лоскутного Бургундского королевства, заметно отличалась от *modus vivendi* ближних и дальних соседей. Проживание на неудобьях Европы означало повседневную борьбу за существование со свирепой водной стихией, которая нависала над плоской, хотя и отменно плодородной равниной и периодически обрушивалась на нее штормовыми осенними ночами, прорывая возведенные всем миром земляные и каменные дамбы. К тому же, приняв Реформацию в ее радикальной кальвинистской версии, голландцы противопоставили себя и оплоту католицизма Испании, к тому времени прибравшей к рукам Бургундские владения, и набиравшей силу Франции, в которой гугеноты постепенно оттеснялись на периферию, и даже своим соплеменникам из зажиточной Фландрии.

Фанатичный католик и непреклонный строитель имперского порядка Филипп Второй Габсбург никак не мог потерпеть отклонения от заведенного им мироустройства даже в самом дальнем уголке доставшейся ему по наследству державы. Он энергично принялся приводить нидерландских бюргеров, рыбаков и крестьян к стандарту, выработанному в Эскуриале и Мадриде. Если не получалось по-доброму, то он, не обинуясь, действовал огнем и мечом. А по-доброму с голландцами почему-то не получалось. Жестоковыйный народец никак не был готов к установлению жестких универсальных порядков, принятых в феодальной абсолютистской Кастилии, на своих с великим трудом отбитых у Северного моря и тщательно ухоженных землях. Города не желали поступиться своими привилегиями, кормить орды наемников и отдавать львиную долю доходов от торговли в бездонный королевский карман, кальвинистская церковь была тверда в противостоянии «папистскому идолопоклонничеству», сельские жители, рыбаки и крестьяне были немногословны и себе на уме.

И вот, выдержав жестокий натиск первого раунда войны за свою свободу и отогнав к исходу 1572 года испанцев на юг, на другую сторону дельты Рейна-Мааса, жители отколовшихся от испанских Нидерландов провинций (тогда их было семь по счету) оказались в странном положении. Защитив свою свободу, они как бы вновь завоевали земли, на которых жили искони, и должны были начать свою историю почти с чистого листа. К тому же семь объединившихся провинций волею исторических судеб оказались страной иммигрантов. На северный берег Рейна хлынул поток беженцев-протестантов из богатой и более «европейской» Фландрии, которые у себя на родине подвергались погромам и религиозным преследованиям. Реформисты, бежавшие из разгромленного войсками Альбы Антверпена – тогдашней культурной и торговой столицы Фландрии – поддерживали дух сопротивления жителей северных провинций и активно способствовали формированию на-

ционального самосознания и культурной самоидентификации вновь образовавшейся республики.

Однако новую инкарнацию своего племени жителям Низких Земель пришлось творить из старых ингредиентов. Причем ближайшее бургундско-испанское прошлое для этих целей никак не годилось. Тогда-то голландцы и вспомнили про свои утерянные колена – полумифических предков-батавов, имевших исконное право на эти земли.

Соединение двух источников – истории легендарной Батавии, извлеченной из Тацита просвещенными гуманистами, и Ветхого Завета, истово почитаемого ревностными кальвинистами, – дало неожиданный результат: народ Нидерландов привык сравнивать себя с евреями, отвоевавшими землю обетованную у язычников на основании Завета, некогда заключенного с их героическими предками. Истинно верующие отстаивали свой Сион в беспощадных битвах с Амалеком. Герои войн против папистской Испании и ее союзников – Эгмонт, Хоорн, адмирал Тромп – сравнивались с библейскими персонажами: Гидеоном, Самсоном, Давидом... Штатгальтер Виллем Молчаливый вывел свой народ из испанского пленения подобно тому, как некогда косоязычный Моисей вывел из плена египетского свой народ. Сто пятьдесят тысяч новых жителей Нидерландов в самом буквальном смысле оставили на покинутом юге горшки с мясом, пересекли глубокие воды Рейна и обрели Землю Обетованную, текущую млеком, пивом и селедками. Поэтому они склонны были читать книгу Исхода не только как историческое предание, но и как часть истории собственного племени. Да и некоторые эпизоды войны с испанцами прямо-таки просились в эту книгу.

Летом 1574 года город Лейден оказался в безнадежной ситуации. Герцог Альба обложил его осадой с трех сторон. В тылу у лейденцев были только прибрежные дюны и Северное море. Собственного гарнизона у города не имелось – только слабо вооруженная милиция, состоявшая из лейденских

бюргеров, способных держать оружие. Соседний Хаарлем уже был взят испанцами. Отчаянная ситуация, сложившаяся в центре Голландии, заставила Виллема Оранского прибегнуть к крайней мере – частично разрушить дамбы на Эйсселе. Хлынувшая в проломы вода превратила Гауду, Роттердам и другие города юга в острова, но до Лейдена этот рукотворный потоп не добрался, так что флотилии Виллема не могли прийти городу на помощь... И тогда в середине сентября разразился сильнейший шторм, воды ближнего озера *Haarlemmermeer** вышли из берегов и смыли фараоновы войска! У голландцев возникла даже своя Агада, составленная Адрианом Валериусом, – *Nederlantsche Gedenck-Clanck* (Нидерландский гимн поминовения) – богато иллюстрированная компиляция истории порабощения и освобождения в прозе и стихах, чтение которой сопровождалось пением и танцами. Хлеб и селедка как пища избавления замещали мацу и карпас.



Неизв. автор. Илл. к Nederlantsche Gedenck-Clanck. Харлем, 1626 г.

* Нынче это озеро почти полностью осушено, и аэропорт Схипхол занимает его западную часть.

Этот сионистский проект активно разрабатывался государственными мужами, историками и художниками, литераторами и клириками. Виллем Молчаливый ссылаясь на нерушимый союз со Вседержителем, который неизмеримо важнее, чем земная лояльность испанскому королю. Кальвинистский проповедник Якоб Лудиус, задавшись вопросом, как так получилось, что маленькие слабосильные Нидерланды одержали верх над всеми своими врагами на земле и на море, объяснял это единственно тем, что был заключен вечный Завет между Богом и его земными детьми – голландцами. Гуго Гроциус, знаменитый голландский юрист, теолог, философ и поэт, внес основополагающий вклад в создание патриотической версии истории батавов, препарировав соответствующим образом римские источники. Периодически созывавшиеся племенные сходки батавов он провозгласил прообразом ассамблей (*staten*), управлявших делами семи провинций в современных ему Нидерландах. В эпизоде с Цивилисом, сбившим бороду и коротко остригшимся перед тем, как заключить перемирие с Римом, Гроциус усматривал очевидные параллели с Самсоном... Обширная галерея исторической живописи, витражи в соборах, богато иллюстрированные гравюрами сборники историй о недавних войнах и стародавних легенд обряжали голландцев в одежды древних иудеев, боровшихся за обретение Земли Ханаанской. А национальный поэт голландцев Йост фан Фондел через три года после исторического перемирия с Испанией 1612 года, обозначившего конец очередного этапа борьбы за независимость, сочинил эпическую поэму *Passcha* (*Песах*, как легко перевести), завершающий раздел которой так прямо и назывался: «Сравнение между Спасением Сынов Израиля и Освобождением Соединенных Провинций Нидерландов». В горестном Исходе 1585 года из Антверпена участвовали его родители.

У еврея, читающего эту главу истории Нидерландов, неминуемо должно возникнуть предположение о филосемитизме голландцев, проистекшем из сей исторической анало-

гии. Ничего подобного, однако, в сознании жителей Низких Земель не возникало. Они никоим образом не ассоциировали воображаемых библейских евреев с юркими и предприимчивыми ладиноговорящими потомками иберийских марранов, сновавшими по амстердамской Синт Антонис-бреестраат и окрестным переулкам. По их понятиям, ветхозаветные евреи более походили на легендарных древних батавов, исконных жителей Низких Земель. И нечего тут примазываться.

Признаём, что у жителей Низких Земель было немало оснований считать себя преемниками библейских сынов Израиля. А что по этому поводу думали их соседи в Англии, Франции, германских княжествах? Они, в сущности, соглашались с такой идентификацией, правда, в несколько иной формулировке – *они не такие, как мы*. Во всех нормальных странах власть принадлежит суверенным владетелям, князьям, королям или императорам, которые получили ее непосредственно из рук Вседержителя. У этих же страной заправляют Генеральные штаты – парламент, состоящий из худородных негоциантов и прочего городского сброда, а вместо властительного помазанника Божия – какой-то штатгальтер, имя которого еще поди отыщи в родословных книгах. У нас опора королевской власти – дворянство, для которого честь и военная доблесть превыше всего. А у них у всех на уме одно – презренная польза, которую они искусно извлекают и из своей плодородной почвы, и из постоянных ветров, и из своего умения плавать по морям и заключать торговые сделки. Одно слово – болотные люди. Пока они копались в своих болотах, мариновали селедку в приморских городках и занимались мелкой местной коммерцией, над ними можно было добродушно посмеиваться. Но видеть разбогатевших и успешно торгующих по всему христианскому миру обитателей Низких Земель, выбившихся с нашей же помощью из грязи в князи, невыносимо для верноподданных британской или французской короны. К тому же победить их на поле боя почему-то никак не получается. Скорее всего, именно потому, что

они не такие, как мы. Кроме того, они возмутительно хорошо живут! В нормальных странах крестьяне каждый второй-третий год пухнут с голода и мрут как мухи, мясо на столе видят раза два в год по большим праздникам, а у этих даже в бедных северных провинциях у мужика на завтрак каждый день свежий хлеб, кувшин молока, добрый шмат масла и этот их ядреный твердый сыр. А городской мастеровой, заключая с хозяином договор о найме, оговаривает специально, чтобы лососем его кормили в обед не чаще трех дней в неделю. Мяса ему подавай!

По правде говоря, позднефеодальная Европа эпохи барокко была не так уж щепетильна в вопросах дворянской чести и не столь уж равнодушна к презренному металлу. Министр французского короля мсье Кольбер и министр испанского короля граф Оливарес были горазды приумножать королевскую казну, не забывая о собственном кармане. Только в своих финансовых предприятиях они были гораздо менее успешны, чем эти голландские выскочки. И «классовые» чувства, которые они при этом питали к удачливым конкурентам, предвосхищали ту смесь злобы и зависти, которую через пару веков будут испытывать высокородные прусские юнкеры времен кайзера Вильгельма к удачливым еврейским финансистам Берлина и Вены. Широкополые круглые шляпы и черные камзолы амстердамских негоциантов раздражали благородных кавалеров не меньше, чем цивильные сюртуки и воротнички, подпиравшие гладко выбритые щеки еврейских оптовиков и банкиров злили немецких аристократов, не затруднявшихся в конце просвещенного и цивилизованного XIX века прозреть под этими сюртуками старозаветные лапсердаки.

Первые сто лет независимых Нидерландов – это время почти непрерывных войн. Даже после победного завершения в 1648 году многолетней тяжбы с Испанией чаемое мирное время не наступило. Сначала – англо-голландские войны за свободу торговли на морях, затем война с Луи XIV и его грозными полководцами принцем Конде и маршалом Тю-

ренном. Но характерно, что, никогда не уклоняясь от военных столкновений, голландцы четко различали войны «праведные» и «неправедные» и даже лучших своих генералов и адмиралов отнюдь не обожествляли. В республике не было воздвигнуто ни одного конного памятника. Герои войн с Амалеком – прежде всего голландцы, а уж потом ратоборцы. Даже одержав сокрушительную победу над грозным врагом, с ним стремились договориться по-хорошему, как, например, в морской войне с англичанами 1652 – 1657 годов. Военное счастье склонялось то на одну, то на другую сторону, но дерзкий рейд адмирала де Рейтера, внезапно появившегося с флотилией из восьми (!) кораблей в устье Темзы, привел англичан в полное смятение. Евреям – прошу прощения – голландцам удалось поджечь английский флот, стоявший на якорях в Мидуэе, захватить и увести с собой флагманский корабль *Royal Charles*, а через некоторое время совершить еще один рейд в Грейфсэнд на глазах у англичан, толпившихся на берегах своей Темзы. После этих унижительных для английской короны событий был подписан в Бреде* мирный договор, в котором Нидерланды настояли всего лишь на сохранении *status quo* на морских путях из Суринама и Молуккских островов и уступили Англии Ямит – прошу прощения – Новый Амстердам с прилегающими землями (будущий Нью-Йорк и его окрестности вплоть до штата Делавар). Мир и свобода торговли дороже территорий, которые трудно, дорого и политически накладно удерживать.

На волне своего Золотого века обитатели Низких Земель сумели продержаться, пока длилось их военное противостояние с тогдашними великими европейскими державами. По окончании войн за испанское наследство на Низкие Земли снизошел мир, продолжившийся вплоть до наполеоновского передела европей-

* В той самой Бреде, сдачу которой испанским завоевателям за полвека до этих событий запечатлел Веласкес на большом полотне, предназначенном для украшения дворца Буэн-Ретиро короля Филиппа Четвертого.

ского пространства. За этот почти столетний временной промежуток Нидерланды постепенно превратились в благополучную европейскую страну, отличающуюся от соседей главным образом удивительной благоустроенностью чистеньких уютных городков, неслыханной свободой предпринимательской инициативы, политических мнений и отсутствием какой бы то ни было цензуры над печатными изданиями. В этой маленькой стране находили прибежище и для себя, и для своих диссидентских сочинений инакомыслящие из соседних королевств и княжеств.

В наше время никому не приходит в голову считать голландцев каким-то исключением среди других европейских народов. Каналы, дамбы и ветряные мельницы есть и в соседних прибрежных странах. Умение делать деньги из воздуха и воды, а также демократические свободы стали достоянием многих стран первого мира, входящих в благополучный «золотой миллиард». Осталась, конечно, национальная история Низких Земель, но она записана на языке, не слишком известном в окружающем мире.

Ну что же, люди есть люди во все эпохи. Отношение к не таким, как мы, было выработано еще в пещерные времена и не сильно изменилось с той доисторической поры, несмотря на приливы и отливы сменявших друг друга цивилизаций. А вот умение быть не такими, как все, было даровано лишь немногим избранным народам. Евреи гордятся тем, что пронесли это умение, данное их ветхозаветным предкам свыше, сквозь неисчислимые перипетии истории античного мира, средних, новых и новейших веков. Но случилось так, что еврейская история помогла обрести свою историческую судьбу небольшой, но стойкой нации, которая, кстати, первой из европейских стран предоставила полные гражданские права своим евреям, хотя эти лапсердачники на вид были совершенно не похожи ни на своих библейских праотцев, ни на легендарных батавов, некогда населявших Низкие Земли. А мирные времена на своей обетованной земле для евреев все еще не наступили...

ОСТРОВА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

*М*олодость моего поколения почти целиком уместилась между оттепелью и застоём. Ее начало было замечательным образом документировано в литературе и кино. Повесть Василия Аксенова «Звездный билет» и фильм Марлена Хуциева «Застава Ильича» – это как раз про нас. А наши старшие братья – это те самые «шестидесятники», на которых орал и топал ногами Никита Сергеич, которые первыми начали задавать друг другу крамольные вопросы, собираясь по вечерам на крошечных кухнях свежестроенных «хрущовок», и которых теперь обвиняют в развале великой державы ничему не научившиеся и ни в чем не раскаявшиеся бывшие солдаты партии и ее компетентных органов – ныне все как один социал-патриоты и государственники.

Когда мы оканчивали школу, уже отшумела в молодежных газетах и журналах дискуссия о «физиках» и «лириках». Дискуссия была довольно бестолковая, но «физики» в ней, кажется, победили. Во-первых, бомба, атомоход, спутник и лазер со всей очевидностью показывали, в чьих руках счастливое будущее человечества. Во-вторых, хорошо организованная система физико-математических олимпиад и вновь появившиеся спецшколы того же уклона магнитом вытягивали из старших классов наиболее талантливых и развитых учеников. Да и сдавшие свои позиции «лирики» ощутимо повлияли на нашу профессиональную ориентацию. Фильм Ромма «Девять дней одного года», научная сказка братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», повесть Гранина «Иду на грозу» расцветили социальную мифологию той эпохи. И мы понесли свои документы на физфаки и мехматы местных университетов или поехали в Москву пытаться счастья в тамошних знаменитых на всю страну Физико-техническом и Инженерно-физическом институтах (МФТИ и МИФИ).

Подавляющее большинство удачливых абитуриентов было слабо образовано в отечественной и тем более всемирной культуре и истории (только-только «разрешили» Пикассо, а про Мандельштама, не говоря уже о Поппере, никто и слыхом не слыхал!). Мы не имели понятия, в каком удивительном сообществе нам предстоит провести следующие четверть века и какое наследство нам уготовано. Наши университетские профессора принадлежали к генерации ученых, получивших образование вскоре после окончания Второй мировой войны, как раз когда железный занавес разделил некогда единый мир науки на две неравные части. В одной остались великие научные державы – Англия, Германия, Франция, Нидерланды, в которых традиция научного поиска насчитывала столетия непрерывных усилий многих поколений исследователей, плюс Соединенные Штаты, успевшие к тому времени создать собственную сеть первоклассных университетов и получившие в качестве военного трофея огромное количество ученых-эмигрантов из Старого Света. А в другой части мира была Россия и ее сателлиты. Здесь отношение к культуре, науке, ее создателям и ее плодам в течение многих столетий было совсем иное.

В то время, когда в пост-наполеоновской Европе Фарадей, Ампер, Гаусс открывали законы электромагнетизма, с помощью которых вскоре была осуществлена очередная научно-техническая революция, изменившая лицо мира, в России Петр Яковлевич Чаадаев сочинял свои наполненные горечью «Философические письма», уязвившие умы и сердца многих поколений российской интеллигенции:

«...И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители? ... Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу»

идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили... Ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь...»

За эти инвективы, опубликованные в 1836 году, Чаадаев высочайшим рескриптом был объявлен сумасшедшим без медицинского консилиума и без философского обсуждения существа вопроса. Однако уже через шестьдесят лет Чаадаеву можно было веско возразить и по сути. Тургенев, Достоевский, Чехов и Толстой в литературе, Балакирев, Чайковский, Римский-Корсаков и Мусоргский в музыке, Менделеев, Ляпунов, Жуковский и Чебышев в науке – эти люди и внесли идеи, и содействовали прогрессу. Плоды их деятельности действительно вошли в золотой фонд мировой культуры. А потом наступил российский Серебряный век с дягилевским *Ballet Russe*, потрясшим Париж, дивной музыкой Скрябина и Рахманинова и соцветием великих поэтов – от Блока до Мандельштама...

Никакие традиции и тенденции в российской культуре, оставленные XIX столетием в наследство новому веку, не предвещали возникновения в ее северной столице рафинированного и утонченного «модерна», ставшего первым фирменным стилем российского Серебряного века. В Западной Европе британские и шотландские корни *Art Nouveau* прослеживаются далеко в викторианскую эпоху, а может, и в еще более ранние времена Великой французской революции, когда гравер, поэт и визионер Уильям Блейк выпускает в Лондоне «самиздатовским» способом свои первые книжки стихов с собственными иллюстрациями. На рубеже XIX и XX веков новый стиль пророс почти одновременно во всех культурных странах Старого Света. Кроме общего для всех

европейцев ощущения «конца века», почти в каждой стране у этого стиля находились и свои предтечи. В России же новые веяния появились на фоне кризиса и увядания всех идей уходящего столетия. Этот кризис поразил как казенную идеологию («православие – самодержавие – народность») вместе с обслуживавшим ее византийско-славянским стилем, так и разночинное хождение в народ вместе с передвижническим реализмом, мелочным бытописанием и тоскливыми стихами, впихнутыми в растоптанные размеры, унаследованные от Пушкина и Некрасова.

Консервативное царствование медлительного тяжеловеца Александра III подготовило почву для поразительных перемен в русской экономической и общественной жизни, начавшихся сразу после его кончины. В течение нескольких лет патриархальный купеческий капитал европеизировался, принял современную форму трестов и картелей с обширными международными связями. В крупных городах, и особенно – в Петербурге, появилось множество нуворищей разных национальностей («новых русских» на нынешнем новоязе). Кандидаты в новые хозяева обеих столиц стремились немедленно ввести Россию в семью цивилизованных народов. Любые культурные инициативы в этом направлении имели шанс на мощную финансовую поддержку.

С некоторыми преувеличениями и натяжками можно сказать, что российский Серебряный век был «запроектирован» группой молодых людей, соучеников по частной гимназии Карла Ивановича Мая, размещавшейся на 10-й линии Васильевского острова в Петербурге. Александр Бенуа, Константин Сомов, Дмитрий Философов, Валентин Нувель учились в одном классе, да и жили в одном околотке – в районе Адмиралтейского и Крюкова канала на противоположной стороне Невы. Вначале это был полусемейный кружок просвещенных дилетантов, занимавшихся самообразованием и желавших, по определению Бенуа, «избавиться от

нашего провинциализма и приблизиться к культурному Западу». Чудо состояло в том, что выйдя на общественную арену, эти молодые люди сумели превратить свои скромные домашние упражнения в мощное течение, определившее культурный облик России на десятилетие вперед и выведшее ее на европейские подмостки.

Практическую форму дилетантской культурной инициативе придал примкнувший к кружку провинциальный кузен Философова Сергей Дягилев – организованные им на деньги меценатов-промышленников Марии Тенишевой и Саввы Мамонтова выставки и, главное, журнал с исключительно удачным названием «Мир искусства» преобразили художественную жизнь Петербурга. Еще один примкнувший (тоже через семейные связи с домом Бенуа) – вольноприходящий ученик Академии художеств Лев Розенберг, переименовавший фамилию на Бакст – со временем превратился в художника европейского масштаба, и его оформление спектаклей антрепризы Дягилева в Париже стало одним из первых общепризнанных вкладов русского искусства в мировую культуру XX века.

Интересно сравнить виды Петербурга на почтовых открытках, выпущенных в 1895 и, к примеру, 1913 году. Это как бы два разных города. На открытках конца XIX века мы разглядываем сонный ампир, неторопливых пешеходов и экипажи на булыжных мостовых «эпохи Достоевского», а на карточках последних предвоенных лет сфотографированы стильные фасады с огромными зеркальными окнами на заполненных фешенебельной публикой Большой Морской и Литейном, уже «опозоренном модерном», сверкающие никелем авто, основательно потеснившие ландо и пролетки. Сам стиль модерн к тому времени казался устаревшим. Новые художники и поэты, называвшие себя футуристами, акмеистами, лучистами и еще Бог знает кем, успешно вытесняли с авансены старшее поколение, а молодые композиторы ис-

кали новые способы звукоизвлечения. Скрябин и Рахманинов казались им слишком пресными.

Но все это великолепие кончалось за Обводным каналом и речкой Пряжкой. Александр Блок мог смотреть на другой мир прямо из окна своей квартиры на Офицерской. И увиденное он констатировал в не оставляющем надежд арифметическом неравенстве:

«Есть действительно не только два понятия, но две реальности: народ и интеллигенция; полтора ста миллионов с одной стороны и несколько сот тысяч – с другой; люди, не понимающие друг друга в самом основном».

Предостережение, как всегда, не было услышано, но гул времени нарастал. Культурный Запад, к которому недавно адресовались мирискусники, вовлекся в саморазрушительную войну при пассивном соучастии России. Общеευропейская бойня развеяла по ветру и недавно скопленный капитал, и хрупкие цветы Серебряного века. И вот «в терновом венце революций» пришла эпоха, предощущение которой можно найти в тех же «Философических письмах» Чаадаева:

«В нашей крови есть нечто, враждебное истинному прогрессу. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять...»

Здесь Чаадаев оказался истинным провидцем. Россия действительно преподала миру важный урок, поставив на себе эксперимент, результаты которого всем известны. Время отдаленных поколений еще не пришло, но последствия коммунистического эксперимента расхлебывают ровесники революции, их дети и внуки. Одним из первых результатов Октябрьского переворота было уничтожение «буржуазной» культуры и быстрая трансформация того, что от нее осталось, в упрощенную систему соцреализма. Военный коммунизм, оптовые расстрелы, поезда и пароходы, груженные интеллигентами с билетами в один конец... Много ли надо, чтобы

истребить тонкий культурный слой? Уцелевшие представители Серебряного века разлетелись по всему свету. Те немногие, кто остался в России и сумел выжить или не сразу погибнуть между жерновами ее истории, теперь составляют славу российской культуры XX века. Но мало кто отдаёт себе отчет в том, что история парадоксальным образом повторилась и российская наука тоже пережила свой Серебряный век, не менее великолепный, чем поэзия, музыка и архитектура в первые два его десятилетия. Только случилось это на пятьдесят лет позже. Осколки этого великолепия тоже разлетелись по всему свету после крушения коммунистической системы, и бывшие звезды московской, ленинградской, харьковской, уральской, новосибирской научных школ по сей день населяют национальные лаборатории и университетские кампусы всех пяти континентов. Я не буду говорить обо всей науке, а возьму одну лишь физику, «затем, что к ней принадлежу».

История российской физики коротка, но драматична. Хотя официальная историография возводит ее к Михайле Ломоносову, пришедшему пешком с рыбным обозом в Москву в 1730 году, физика в России как явление мирового масштаба обязана своим существованием большевикам, которые эту Россию разорили почти дотла, и нескольким профессорам, которым было сначала дозволено, а потом поручено восстанавливать науку для пользы нового пролетарского государства. Среди этих профессоров первое место по праву занимает Абрам Федорович Иоффе, профессор Ленинградского Политехнического института, ученик В. Рентгена и основатель ленинградской научной школы. В октябре 1918 года А.Ф. Иоффе создал физико-технический отдел Рентгеновского института (по предложению А.В. Луначарского, которое А.Ф. сам же и внушил наркомму). Потом отдел расширился и стал Физико-техническим институтом. ЛПИ и ЛФТИ

располагались на одной и той же Политехнической улице на северной окраине Ленинграда. Выйдя из Политеха, студент пересекал трамвайную линию и тут же оказывался у входа в Физтех. А сотрудник Физтеха, войдя в Политех, превращался в преподавателя. Да и для студентов Ленинградского университета попасть на работу в ЛФТИ было пределом мечтаний. В результате реализации проекта Иоффе разоренная бывшая столица Российской империи превратилась в течение нескольких лет в основной научный центр страны и кузницу ее научных кадров, в терминологии того времени. Перечислять выпускников Политеха и сотрудников Физтеха, ставших выдающимися учеными, – это почти то же самое, что листать справочники Академии наук СССР по разделам «Физика», «Химия», «Энергетика»...

Первое поколение питомцев «папы Иоффе» создавало советскую науку практически на пустом месте. Пользуясь своими обширными международными связями, А.Ф. отправлял молодых сотрудников на стажировку в лучшие научные центры Германии, Нидерландов и других ведущих европейских стран. Вернувшись в СССР, эти молодые люди сами становились основателями научных школ и новых институтов в Харькове, Свердловске, Днепропетровске, Томске... Вместе с учеными предыдущего поколения: старыми петербургскими и московскими профессорами С.Д. Рождественским, Л.И. Мандельштамом, а также будущими нобелевскими лауреатами П.Л. Капицей, И.Е. Таммом, Н.Н. Семеновым и немногими другими, они за невероятно короткий срок – за десять-двенадцать лет – создали, при поддержке государства, мощную систему исследовательских центров, способных заниматься и фундаментальной наукой на уровне, сравнимом с мировым, и прикладными науками на уровне тогдашних потребностей государства.

«Золотой век» советской науки кончился чистками 37-го и 38-го годов, в которых погибли Л.В. Шубников, М.П.

Бронштейн, С.П. Шубин, В.С. Горский и другие талантливейшие ученые. От них остались открытые ими эффекты, теперь носящие их имена, немногие публикации и блестящие идеи, воспринятые их коллегами и учениками. Только благодаря прямому вмешательству Капицы был вызволен из лубянской тюрьмы и остался жив один из крупнейших физиков столетия Лев Давидович Ландау, основатель мощной научной школы и автор курса теоретической физики, который в научном обиходе называется просто «Книга».

Потом началась война, и наука была поставлена на военные рельсы. Бывшие физтеховцы составили костяк команды И.В. Курчатова (тоже сотрудника ЛФТИ), которой было поручено создание советской атомной бомбы. Никто никогда не узнает, какие открытия сделали бы эти люди, если бы им было дозволено провести свои лучшие годы в лабораториях академических институтов, а не в пронумерованных «почтовых ящиках». Архипелаг «ящиков» и «шарашек» жил по законам, которые в терминах истории культуры никак не могут быть описаны, и перед этими железными воротами мы должны остановиться и помолчать.

Семена, посеянные в 30-е годы, дали обильные всходы в послевоенные десятилетия. Физико-технические науки попали в список государственных приоритетов в период индустриализации и остались в нем после войны, когда началась лихорадочная гонка ядерно-ракетных вооружений. После смерти «отца народов» утратила свою лагерную основу, но продолжала функционировать и развиваться система закрытых научных центров, «почтовых ящиков», где были собраны первоклассные специалисты, занимавшиеся прикладными задачами, связанными с этой гонкой. Но, может быть, еще более важно то, что для обеспечения бесперебойного притока кадров в эти «ящики» была воссоздана и усовершенствована система обучения, разработанная некогда для тандема ЛПИ-ЛФТИ А.Ф. Иоффе и его единомышленниками.

Оборонная наука и промышленность исправно получали новых высококлассных специалистов из МФТИ и МИФИ, из вузов Ленинграда, Харькова, Свердловска, Томска, Казани, а побочным результатом этой системы стал Серебряный век российской науки, наступивший во второй половине 50-х годов прошлого столетия. Как и в случае первого Серебряного века, его представителей условно можно разделить на основателей, о которых мы уже говорили, и тех, кто пришел в науку после войны. В этом новом поколении, в свою очередь, можно выделить старших и младших. К старшим я бы отнес тех, кто поступил в вузы сразу после войны и вступил в профессиональное сообщество в последние годы сталинской эпохи и накануне «оттепели». Это поколение 1927 – 1933 годов рождения, исключительно богатое на замечательных физиков. Перечисление фамилий заняло бы слишком много места, да и всегда есть опасность кого-нибудь забыть. Но желающие могут отыскать эти фамилии в энциклопедических словарях, списках лауреатов самых престижных премий и редколлегий международных научных журналов. Большинство из них и сегодня активно работает. Эти люди – наши учителя.

Послевоенная генерация российских ученых приняла активнейшее участие в очередной научной революции, несмотря на то, что контакты с западным научным миром строго дозировались «инстанциями» и «органами». Формы существования академической науки были многообразны: регулярные конференции и семинары в ведущих институтах, многочисленные летние и зимние школы, организуемые в привлекательных уголках обширной страны от Усть-Нарвы до Камчатки, а также журнал. Журнал назывался ЖЭТФ (Журнал экспериментальной и теоретической физики). Листать выпуски ЖЭТФа периода 50-х – 70-х годов для понимающего человека все равно, что просматривать подшивки «Мира искусства» или «Золотого руна» для любителя живописи и графики начала века.

Этот странный социальный анклав, в котором обитали почти счастливые люди, имевшие уникальную возможность «удовлетворять свое любопытство за государственный счет» (по выражению одного из них, которое вошло в научный фольклор) и чувствовать себя почти свободными, по крайней мере в творческом отношении, теперь разрушен безвозвратно. Существование его в течение добрых тридцати лет в стране реального социализма кажется почти невозможным, как кажется почти невероятным внезапное возникновение блистательного Серебряного века в России времен Русско-японской войны и безнадежной революции 1905 года. Рафинированные эстеты «Мира искусства» знали, сколь тонок культурный слой, в котором они обитают, и сколь глубока пропасть, отделяющая их стилизованный мирок от недобро молчащего «народа-богоносца».

В Советском Союзе времен хрущевских пятилеток-семилеток и брежневского застоя различие между интеллигенцией и «народом» вроде бы было весьма условным. Послевоенные сталинские привилегии давно нивелировались, и зарплата обычного научного сотрудника была ниже полочки слесаря в институтской мастерской. К тому же, благодаря замечательной системе поиска и отбора талантливой молодежи для пополнения элитных вузов, в науку вливались выходцы из любых слоев общества и из самых отдаленных уголков огромной империи. Конечно, существовала негласная и очень жесткая процентная норма для инородцев, но на практике некоторому числу энергичных и везучих евреев ее удавалось преодолевать.

Профессия физика пользовалась огромным социальным престижем. Благодаря уникальному стечению исторических, политических и экономических обстоятельств, научные институты сняли сливки с нескольких послевоенных поколений, и новый Серебряный век наступил в оставшихся с довоенных времен и вновь созданных академгородках и час-

тично рассекреченных «почтовых ящиках». Как ни удивительно, многие из баек, рассказывавшихся в 60-е годы литераторами и киношниками об ученых, были сущей правдой. Академики действительно ходили в ковбойках, в каникулярное время лазили по горам и сплавлялись на байдарках, пели под гитару те же бардовские песни, что и студенты, на научных семинарах царила демократия, а глупость, произнесенная почтенным доктором наук, осмеивалась аудиторией так же безжалостно, как и невежественная реплика аспиранта. Конечно, нельзя жить при советской власти и быть свободным от нее, но в институтских стенах эта власть как бы уменьшалась в размерах и умещалась в пределах дирекции, парткома, профкома, режимных отделов и, естественно, отдела кадров, который решает все. Умеренное свободомыслие практиковалось в курилках, на кухнях малометражных квартир, у походных костров и на банкетах по поводу успешных защит кандидатских и докторских диссертаций. Нельзя, однако, не сказать, что научные центры исправно поставляли кадры для диссидентских и сионистских кружков, и, уж конечно, ученые были непременными посетителями полуподпольных художественных выставок и меценатами для гонимых художников и скульпторов. При попустительстве властей неофициальные выставки и концерты устраивались в институтских конференц-залах и клубах обеих столиц и уютных академгородков.

Однако первейшей обязанностью и основной добродетелью считался профессионализм, умение хорошо делать свою работу. Поэтому многие физики искренне полагали, что А.Д. Сахаров изменил своему жизненному предназначению и взялся не за свое дело, вступив в конфликт с властями: его диссидентство, во-первых, ничего не изменит в намерениях и действиях всевластной «Системы», а во-вторых, навлечет ее гнев на ученое сообщество и помешает ему выполнять свое основное назначение – решать задачи, ставить экс-



*Е. Мизунов. Илл. к повести А. и Б. Стругацких
«Понедельник начинается в субботу»*

агноз умонастроений, царивших в нашем научном заповеднике. Внутренняя эмиграция в любимую профессию, ставшая возможной после достопамятного XX съезда, определила стиль жизни ученых, пришедших в науку после окончания хрущевской оттепели. На фасадах институтских зданий красовались транспаранты «Слава советской науке!», но «неравенство Блока» невидимыми буквами было занесено в генетический код новой интеллигентской прослойки, которая заместила старую, выкорчеванную революцией.

Когда М.С. Горбачев неосторожным движением вынул первый бетонный блок из Берлинской стены, все величественное здание советской империи дрогнуло, из него начали выпадать отдельные конструкции, и через несколько лет от

перименты и писать статьи. Братья Стругацкие разместили придуманный ими Институт чародейства и волшебства – НИИЧАВО – где-то на русском Севере, в заповедных местах, куда тяжелая рука государства дотягивалась с трудом. Реалии советской жизни находились на периферии сознания институтских магов и чародеев. Они явно предпочитали не выбираться за пределы своего волшебного мира и не вникать в неприятные подробности действительности, окружающей институтские стены.

Это довольно точный ди-

спланированного по пятилеткам проекта общества будущего, в котором от каждого якобы по способностям и каждому как бы по потребностям, не осталось практически ничего. Наука стала одной из первых жертв перестройки и перехода страны на режим свободной экономической конкуренции. Заповедник чародейства и волшебства просто перестали финансировать. Ученым предложили выживать самим, и они не преминули воспользоваться этим предложением. Институт теоретической физики имени Ландау и ЛФТИ имени Иоффе возглавили новый Исход. Никаких «философских пароходов» на Запад на этот раз никто не отправлял. Доктора и академики улетали и уезжали обычными самолетами и поездами с советскими паспортами в кармане по приглашениям, полученным от американских, европейских, а изредка и израильских университетов, а то и просто не возвращались из служебных командировок или турпоездки в неотапливаемые лаборатории с отключенным оборудованием, устаревающим на глазах.

Процесс растворения уникальной Школы в мировом физическом сообществе шел довольно медленно и, по-видимому, не завершился еще и сегодня. Кое-какие детали некогда великолепного механизма уже окончательно стерлись. Нет больше всемосковских и всепетербургских семинаров, на которых можно было сделать доклад и назавтра проснуться знаменитым. Никто не читает с замиранием сердца очередной выпуск ЖЭТФ, ожидая увидеть на его страницах несколько статей, радикально изменяющих *status quo* в физике плазмы или твердого тела*. Многие из тех, кто предпочел остаться в новой России, наладили устойчивые связи с Западом, работают в рамках тамошних проектов и таким образом поддерживают научный и материальный уровень своих лаборато-

* Автор этих строк провел в кресле заместителя главного редактора ЖЭТФ несколько постперестроечных лет и знает о чем говорит.

рий. Научная жизнь в России, конечно, продолжается, но это уже обычная прозаическая жизнь скудно финансируемых «бюджетников» безо всякого волшебства и чародейства.

Институт Ландау превратился в «*Landau Net*» – сеть сложных взаимоотношений и связей, растянувшуюся от Черногловки до Калифорнии. Что-то в этом роде произошло и с Институтом Иоффе. Русский язык теперь звучит в коридорах всех сколько-нибудь заметных научных центров Европы, обеих Америк и Австралии (об Израиле и говорить не приходится), и на чинных семинарах нет-нет да и вспыхивает дискуссия «в русском стиле» на повышенных тонах, нарушающая западную научно-политическую корректность. Но в целом бывшие русские восприняли западную систему и стали ее заметной составляющей. Плохо это или хорошо для них самих и для науки в целом, сложно сказать. Серебряный век ушел безвозвратно, но его блески все еще заметны в широком и довольно мутном потоке мировой науки.

История последней стадии Серебряного века в летопись российской культуры пока не вписана. Собственно, эти события еще и не стали историей. Большинство их участников, слава Богу, здравствует и поныне и отнюдь не считает себя историческими персонажами, хотя кое-какие мемуары уже написаны и даже опубликованы. Лишь несколько ярчайших фигур российской физики, оказавшихся в конце жизни на Западе, уже закончили свой жизненный путь: Аркадий Бейнусович Мигдал и Анатолий Иванович Ларкин, умершие в США, Владимир Наумович Грибов, работавший в конце жизни в Будапеште, Аркадий Гиршевич Аронов, Юрий Абрамович Гольфанд и Иегошуа Бенционович Левинсон, жизнь которых завершилась в Израиле...

В этой статье речь шла только о физиках, но были и другие области культуры и науки, в которых профессионалы имели статус «полезных евреев», пользовались определенной свободой, имели высокое международное реноме и ока-

зались за пределами России после распада империи. Математики, музыканты, шахматисты...

Две волны Серебряного века сопровождали две стадии индустриализации Российской империи. Первая стадия была естественным этапом вхождения полуазиатской крестьянской страны в европейскую рыночную цивилизацию, и мощный культурный всплеск был откликом на этот процесс. Но слишком тонким и непрочным оказался слой просвещенных капиталистов и европейски ориентированных интеллигентов. Рывок на Запад окончился падением Третьего Рима. Причины, конечно, можно искать и в неудачно сложившихся внешних военно-политических обстоятельствах, но именно внутренние недуги и пороки нации, о которых догадывался Пушкин и знали Чаадаев, Достоевский, Леонтьев, Блок, превратили поражение в национальную катастрофу. Из огня гражданской войны вышло совсем иное государство, которое, однако, не оставило свои имперские амбиции. Следующий рывок уже был не попыткой присоединиться к западной цивилизации, а подготовкой хищника к прыжку. И востребованными оказались не гуманитарные, а естественно-научные интеллектуальные способности населения. Люди опять откликнулись, и первоклассная наука возникла на пепелище буквально из ничего.

То ли по иронии судьбы, то ли по предопределению, и первая, и вторая волна Серебряного века явилась результатом частной инициативы нескольких интеллигентов в Петербурге, искусственном городе, построенном в гиблом месте волею одного человека, который попытался мощным рывком преобразовать Россию. Деятели Серебряного века первого призыва были потомками российских дворян и иностранцев, привлеченных на императорскую службу или прибывших из Европы в северную столицу, желая изменить к лучшему свою судьбу, не сложившуюся на родине. Разночинцы вроде Сологуба, Бакста или Мандельштама составля-

ли в этом изводе меньшинство. Для советской научно-технической революции кадры поставлялись разоренными еврейскими местечками, среднерусскими деревнями и городами бывших окраин Российской империи. Но и в российском, и в советском обществе интеллигенция была лишь тоненькой оболочкой, едва прикрывавшей срамные места государственного организма. И оболочка эта легко разрывалась, когда раздраженный организм выходил из себя.

Что обо всем этом знали мальчики и девочки, поступавшие на естественные факультеты элитных вузов страны на излете хрущевской оттепели? *Ни-че-го*, кроме трех законов Ньютона и трех составных частей марксизма.

Сменится пара поколений, забудутся страсти и обиды, сотрется в памяти потомков разница между жертвами и палачами, и как-то вдруг выяснится, что почти весь великий и ужасный XX век для российской культуры оказался Серебряным, как стало ее Золотым веком «дней Александровых прекрасное начало», несмотря на страшную войну, опустошившую тогдашнюю Европу и половину России, аракчеевщину, холеру и прочие бедствия, происходившие на фоне Пушкина. И кто-нибудь задумает и издаст Энциклопедию российского Серебряного века, в которой его изящные искусства и точные науки будут представлены во всем своем блеске и всей своей нищете.

ИСКУССТВО КАК УТИНАЯ ОХОТА

И здравый смысл обывателя, и изощренный ум философа – классификатора культур – сходятся в определении науки как средства добывания истины если не абсолютной, то по крайней мере относительной или хотя бы практически полезной. А искусство? Тут спектр мнений почти бесконечно широк: от «*Сделайте мне красиво!*» до «*Поэзия и музыка колеблют мировые струны*». Формул искусства предложено едва ли не больше, чем формул любви, но и творящим, и любящим все эти формулы не слишком помогают. Среди определений не последнее место по степени авторитетности и звонкости занимает стихотворная метафора Владимира Маяковского: *Поэзия – та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды*. Но при попытке принять это определение всерьез возникает несправедливый вопрос. Запасы радиоактивных руд на земле конечны – это невозобновляемый ресурс, и он когда-нибудь придет к концу, если только человечество раньше не изведет себя само продуктами переработки этих руд. А ресурсы искусства и науки, они что – конечны? Возобновляемы?

Этот вопрос не празден даже для научных исследований. Да, конечно, познание абсолютной истины для смертного человека невозможно, и в этом смысле для науки, добывающей лишь относительные знания, всегда найдется поле деятельности. Но тем не менее вопросы возникают. Простейший случай – география, описание земли. Она была королевой наук в XVI столетии, в эпоху первых кругосветных путешествий. Географов изображали живописцы и любили самодержцы. Но предмет географии со временем естественным образом исчерпался, поскольку размер нашей планеты конечен. А с появлением системы спутников и космической телеметрии это занятие стало обыкновенным ремеслом, хотя и высокотехнологическим.

Более сложный случай – физика, которая была лидером среди естественных наук со времен Френсиса Бэкона, Галилея и Ньютона. К концу XIX века возникло впечатление, что она почти исчерпала предмет своего исследования, и только появление квантовой механики продлило ее яркую жизнь еще по крайней мере на столетие с лишним – в XX веке самодержцы уважали физиков. Но классическая-то физика все-таки свой предмет почти исчерпала! В ее распоряжении осталось считанное количество недорасколотых крепких орешков – безумно сложных задач, не поддающихся разрешению по специальным причинам (задача о турбулентности, например). В большинстве же областей ее применимости ученые доскребывают остатки или решают прикладные задачи.

Да и у квантовой физики начинают появляться проблемы. Продвигаясь в сторону сверхвысоких энергий, сверхмалых времен и сверхничтожных расстояний, физики столкнулись с необходимостью создавать установки, которые трудно разместить в границах одной страны и можно профинансировать, только скинувшись всем «первым миром». Уже видны пределы, за которыми, для того чтобы поставить одну экспериментальную точку, понадобятся все наличные на земле энергетические ресурсы. А кто их вам (нам) даст? Теоретики, конечно, могут продолжать пастись на этих полях, но без опоры на эксперимент их упражнения превращаются в беспредметную игру ума – математическую физику, которая суть ни математика, ни физика («платоновская физика», по определению С.П. Новикова – выдающегося математика, который внимательно изучает физические теории).

Даже физика твердого тела, вроде бы твердо стоящая на фундаменте опыта, испытывает некоторое неудобство – материалы, созданные природой и имеющиеся на земле и в ее недрах, в основном изучены и классическими, и квантовыми методами и даже количественно описаны. Теперь мы занимаемся исследованием многокомпонентных кристаллов, синтезированных неугомонными химиками, или исследуем совсем уже искусственные объекты – наноструктуры, фабри-

куемые в лабораториях на потребу будущей электроники/спинтроники.

Так что проблема исчерпания ресурсов для научных исследований в какой-то степени имеет место. Слава Создателю, у нас еще есть живая природа и ее венец – мыслящий и чувствующий человек. К серьезным исследованиям живого натуральные науки только-только приступают, и горизонты пока кажутся бесконечными, но пример физики – старшей и уже состарившейся сестры биологии – заставляет задуматься.

Как же в этом смысле обстоит дело с искусствами, коих, по представлениям античных греков, было семь, а сейчас стало гораздо больше, но тоже не очень много? В искусстве, вроде бы, нет прогресса – с этим мнением нынче согласны почти все, кроме самых ортодоксальных марксистов-ленинистов, если только последние еще сохранились в провинциальных российских пединститутах. Искусство вновь и вновь удивляется неисчерпаемости и парадоксальности вечно меняющегося мира, и захватывающему процессу нет конца, пока человек в этом мире обитает. Значит ли это, что ресурсы искусства все же неисчерпаемы и метафора Маяковского неудачна? Давайте начнем рассуждения с него же, раз уж такая метафора попала под руку.

Все знают, что Владимир Владимирович был искусным охотником за рифмами, и, наверно, нет ему равных по этой части во всей русскоязычной поэзии. Но сколько словесной руды он извел в поисках драгоценных небанальных рифм! В попытке отчитаться перед фининспектором он и сам проговорился: *Может, пяток небывалых рифм только и остался, что в Венецуэле*. Налицо исчерпание ресурса. А все потому, что он задался охотничьей целью – орнаментировать концовки своих строк только самыми причудливыми трофеями, как сановный охотник – украшать каминную только самыми развесистыми оленьими рогами. В эстетическом кодексе это квалифицируется как браконьерство. Рифмы однократного использования выпадают из дальнейшего поэтического обращения (кстати, рифму *ради / радий* повторно использовать

также невозможно). У каждого большого русского поэта можно отыскать десяток-другой уникальных блестящих рифм, рассеянных по всему корпусу его сочинений. У Маяковского их сотни – явно больше, чем ему положено по его статусу на Парнасе. И все – однократного использования. Такой творческий эгоизм есть прямое нарушение законов поэтической экологии. Порифмовал – дай порифмовать и другим!

Столь же варварски в «экстенсивной» поэтике Маяковского используются тропы. Юрий Карабчиевский в своей печально известной книжке о Маяковском, которая так дорого ему обошлась, горько упрекает коллегу в негуманном обращении с метафорой: «Реализация речевого штампа, возврат к ее [метафоры – *К.К.*] прямому, буквальному смыслу есть окончательное убийство метафоры, но никак не ее рождение. Видимость жизни создается краткой агонией». Беспощадно-многословное развертывание метафор буквально пронизывает всю экспрессионистскую лирику В.В. десятых годов, не говоря уже о поденной работе на социальный заказ в последние годы жизни. Поэту такие вещи даром не проходят: *Происходит страшнейшая из амортизаций – амортизация сердца и души.*

В революционном искусстве начала прошлого века Маяковский отнюдь не одинок со своими манерами «главаря». Давайте обратимся к другому жанру – живописи. В те годы, когда Маяковский расхаживал по обеим столицам Российской империи в своей желтой кофте, культурным центром мира был Париж. Там сначала на Монмартре, потом в районе Монпарнас в мастерских художников Парижской школы рождалось новое живописное видение, а возглавлял эту революцию испанец Пабло Пикассо. В середине XIX века живопись спустилась на землю с академических высот, где она искала «прекрасное» и «героическое», обряжая его в античные пеплосы и тоги или в псевдоисторические костюмы прошлых веков. Почти во всех национальных художественных школах главенствующие позиции занял реализм, объявивший своей задачей изображать жизнь, «как она есть».

Живописная и скульптурная техника достигла к этому времени такой изоциренности, что внешнего жизнеподобия в своих произведениях мог добиться почти любой среднеодаренный, но трудолюбивый выученик художественного училища. Но эпоха реализма оказалась на удивление недолгой – живописцам очень быстро наскучило «удваивать реальность». И они стали ее преобразовывать.

Художники обнаружили, что копирование всех деталей природы на холст с равной отчетливостью вовсе не «реалистично» – глаз человека, как любой объектив, обладает глубиной резкости и всегда фокусируется на одной детали, оставляя на периферии взгляда все остальное, а то и вообще не наводится на резкость, когда его обладатель впадает в задумчивость. Отцы-основатели импрессионизма, наделенные необычайной зоркостью, научились использовать эти оптические свойства сначала в пейзаже, работая на пленэре, а потом и во всех остальных жанрах. Оказалось, что под пристальным (но не фотографическим!) взглядом мастера объект начинает раскрывать свое потаенное устройство – и цвет, и форма, и композиция текучи, предметы, попадающие в рамку натюрморта или пейзажа, не отделены друг от друга резкими границами, мгновенный взгляд на них может раскрыть такие свойства изображаемой реальности, которые точное копирование никогда не откроет.

Потом выяснилось, что светотень можно запечатлеть, разлагая ее на дискретные световые (цветовые) пятна, потом оказалось, что естественную цветовую гамму (*Каждый Охотник Желает Знать...*) и вытекающую из нее систему дополнительных цветов можно сместить, а дополнительные цвета перетасовать, и при этом небо на картине не перестает быть небом, а человеческая плоть не теряет своей материальности и сексапильности – бедро испуганной нимфы может быть любого цвета! Казалось бы, открытия импрессионистов, пуантилистов, фовистов и иже с ними только расширили возможности изобразительных искусств, и в этом смысле «ресурс» увеличился.

Но... начав экспериментировать, уже невозможно остановиться. Как говорили древние, *placet experiri**. И тут из захолустной Барселоны в Париж прибыл молодой испанец. Человек неограниченного таланта, мощного темперамента и ненасытного любопытства, Пикассо не смог удержаться от того, чтобы не только попытаться понять скрытые свойства изображаемой природы, но и попробовать ее разобрать так, чтобы винтики, пружинки, скрепы и каркасы разломанных игрушек выперли наружу и тоже стали предметом изобразительного искусства. Он показал, что анатомировать реальность можно, нарезая ее на ломтики и складывая их в кубистический натюрморт. Это называлось – «выявлять конструкцию». Поиграв в эти кубики, Пикассо на время вернулся к фигуративной живописи, но пример был уже дан.

Теперь можно было задаться вопросом: что будет с натурой, если ее не разрезать, а взорвать и сотворить новую реальность из получившихся клочков? Василий Кандинский попробовал это сделать и показал, что картина при этом остается картиной – композиция держится игрой абстрактных форм и сочетаний чистых цветовых тонов. Живописец прекрасно может обойтись вообще без жизнеподобия. Можно перекручивать пространство и создавать затягивающие цветочные вихри и водовороты (топологические дефекты, в понимании математиков), как это делал Франтишек Купка. Можно разбивать плоскость на монохромные квадраты и прямоугольники, тщательно следя за пропорциями и помня про золотое сечение, как это делал Мондриан. И это все еще живопись! На работы Кандинского и Купки можно смотреть часами и получать полноценное эстетическое переживание.

Но – ломать не строить. Увлекательные игры быстро пришли к логическому концу. В конце маячил «Черный квадрат на белом фоне» Казимира Малевича. Малевич повторил свой абсолютный шедевр три раза, понял, что достиг дна колодца и тоже вернулся в предметный мир, обогатив-

* *Интересно пробовать (лат.)*

шись опытом живописной преисподней. Эксперимент с абстрактным искусством был плодотворным, но однократным. Идея себя исчерпала почти мгновенно. Ученики и эпигоны разрабатывали истощенную жилу еще лет семьдесят, да и по сей день не кончили. Коммерчески это занятие себя оправдывает, но... дух отлетел. Все разрешено, любые эксперименты приветствуются при условии, что это продается и дает хлеб насущный академическому персоналу и менеджменту, обслуживающим изящные искусства. От неоавангардистских экспериментов и хеппенингов получают удовольствие и прибыль сами авторы, галеристы и музейщики, заполняющие шумящими, звенящими и мерцающими объектами большие и гулкие помещения современных искусствовохранилищ. Но обычные профанные посетители торопливо пробегают через просторные беззаконные анфилады, чтобы с облегчением сбавить шаг в маленьких зальчиках, увешанных неисчерпаемыми пейзажами Моне и сдобными девушками Ренуара.

Пикассо между тем продолжал свои эксперименты, меняя поочередно амплу разрушителя и демиурга. В одном из приступов (так и хочется сказать – припадков) вдохновения он затворился на несколько месяцев со знаменитой картиной Веласкеса «Менины». Как многие мастера, он умел «подзаряжаться» от чужих откровений. Запершись в студии с репродукциями «Менин», он страстно препарировал их на все лады – переставлял акценты композиции, разрезал шедевр по линиям и плоскостям, превращал второстепенные фигуры в главные, варьировал мотивы, упрощал и уплощал. Получился целый музей «Менин», побывать в котором необычайно увлекательно... как в анатомическом театре. Пир духа, менины сердца, хищный глазомер простого столяра – но хочется оттуда назад в Прадо, к еще не расчлененной картине. Она не поддается репродуцированию, на ней Мастер, инфанта Маргарита, ее сиятельные родители, отраженные в мутном зеркале, и прочие странные персонажи исполняют свой завораживающий неподвижный балет в жемчужном свете, падающем в студию откуда-то справа.



Пабло Пикассо. Менины. По Веласкесу. Музей Пикассо, Барселона.

Ресурс анатомички, конечно, неисчерпаем, но мы обращаемся к Аполлону и его музам не за этим. Вот, к следующему примеру, – музыка, которую Иоганн Себастьян Бах собрал в «Хорошо темперированный клавир». В этой конструкции музыканты Старого Света жили, и весьма комфортно, без малого три столетия. Но... *placet experiri*, и в какой-то момент у молодых и дерзких возникло искушение попробовать ее на прочность. Музыка не возражала против отмены мелодии, она согласилась с предложением реформаторов из Новой венской школы нивелировать разницу между мажором и минором и уравнять в правах все тона хроматической гаммы. Борясь с «предсказуемостью» форм, вычеканенных Бахом и Бетховеном, и изгоняя из музыки ложный вагнерианский пафос, Веберн сжал тематическую музыкальную фигуру до одного звука. Когда экспериментаторы

пригласили в свои партитуры производственные шумы и горластую фауну тропического леса, музыка стерпела и это. Конструкцию Баха разобрали, перекомпоновали, дополнили протезами, строительными лесами и учеными комментариями, которые тоже стали неотъемлемой частью музыкального искусства. В результате возникла новая музыка XX века, которую читать интереснее, чем слушать. А в качестве музыкального сопровождения к «Черному квадрату» мы получили пьесу, состоящую из семнадцати тактов, наполненных паузами и только паузами. Похоже, что и здесь охотничий сезон подошел к концу в связи с исчезновением дичи.

Замечательно, что не во всех искусствах авангардистские приемы быстро истощали золотые жилы. Вот, скажем, архитектура многие века орудовала с помощью небольшого набора элементов: колонна, балка, арка, купол плюс тот же хищный глазомер. Мастерство состояло в том, чтобы либо элегантно выявлять, либо искусно скрывать архитектонику этих элементов. К концу XIX века возникла творческая усталость. Большие стили прошлого, выработанные древними и заново эстетизированные в эпохи Возрождения, барокко и классицизма, себя исчерпали, а новые как-то не возникали, несмотря на усилия одаренных мастеров и богатство заказчиков. Стиль модерн (*art nouveau, jugendstil*) был последней почти удавшейся попыткой такого рода. Но в этот исторический момент на смену бревнам, брусьям, каменным блокам и кирпичной мелочи пришли стальной каркас, напряженный железобетон, изогнутый в гиперболические конструкции, и вантовые системы.

И архитектура воспарила! Жесткие материальные ограничения на ширину пролета, шаг несущих элементов и тип перекрытий, вызвавшие к жизни старинные большие стили, были сняты. Теперь почти все, что возникает в мастерской архитектора в виде эскизной идеи, даже самой сумасброд-

ной, может быть компьютерно рассчитано, воплощено в современных материалах и облицовано Бог знает чем – блистающим, преломляющим, поглощающим, нержавеющей и ошеломляющим. *Only sky is the limit**. Архитектуре более нет нужды перетасовывать вчерашние стили, хотя иногда она насмешливо поигрывает с ними в постмодернистской манере. Ее ресурсы возобновляются и умножаются по мере развития (как ядерное горючее в некоторых типах реакторов). Постмодерн для современной архитектуры не губителен, и в обозримом будущем упадок ей не грозит.

Ресурсосберегающие технологии искусства были известны многим мастерам в разные эпохи. Вот, например, рядовой средневековый японский художник, посвятивший изображению сливы, ириса или чешуйчатого карпа всю свою долгую живописную карьеру и достигший в своем деле нечеловеческого совершенства, определенно занимался экологически чистым искусством. Потому что даже карп неисчерпаем. Да и в новой западной живописи можно найти подобные примеры: Модильяни со своими как бы по одному иконному образцу сотворенными портретами длинношеих женщин с античными пустыми глазницами – от созерцания этих лиц невозможно оторваться; Вейсберг с бесконечно разнообразными вариациями белого (рядом с его белыми квадратами на белом фоне Малевич отдыхает); Моранди и Краснопевцев с их минималистскими натюрмортами, ни один из которых не похож на другой. А великолепная французская поэзия, на несколько веков – от Ронсара до Бодлера – ограничившая себя практически единственным размером, alexandrinом, и строгими рамками сонета.

Да вот и в прямой укор В.В. – старшекласник из той же школы Серебряного века Борис Пастернак. В молодости он грешил любовью к блестящим словоупотреблениям, в чем позже покался, воззвав к немислимой простоте. Но, при-

* Предел – только небеса (*англ.*)

рожденный рифмоплет, он и в зрелые годы иногда не мог отказать себе в удовольствии. Только рифмы, которые находил Пастернак, были заповедными – никто, кроме него, в этих исхоженных местах ничего бы не отыскал. Вот сорвем с веток одного только стихотворения про новогоднюю елку, сочиненного им в весьма серьезном возрасте, после пятидесяти, в не любившем шуток 1941 году: *скважину / ряжесных; великолепие / сепии; блузок / карапузов; пунцовых / танцоров...* Или блистательная строфа на монорифме с чередованием мужской и женской ее разновидностей:

*Всё разметала, всем истекла,
Вся из металла и из стекла.
Искрится сало, брызжет смола
Звездами в залу и зеркала
И догорает до тла. Мгла.*

Пожалуйста, господа потомки, пользуйтесь этим богатством... если хватит мастерства.

Искусство – это игра, а не охота, как учил нас мудрый Хейзинга в своем сочинении «*Homo Ludens*». Когда перестают играть, начинает пахнуть распадом. Маяковский, несмотря на все свои шуточки и каламбуры, очень серьезен. Выдуманный Томасом Манном авангардный композитор Левекюн, литературный слепок с ново-венских испытателей музыкального естества, иронически усмехался, но был холоден и серьезен, и так погубил свою душу. Пикассо играл, да заигрался и, похоже, тоже будет иметь большие неприятности в Судный день. Охоту, конечно, запретить нельзя ни в жизни, ни в искусствах. Да и сама охота в своих классических формах и ритуалах тоже род искусства, хотя и с реальными жертвоприношениями. Но когда «рослый стрелок, осторожный охотник» вскидывает свое ружье и начинает палить из обоих стволов по всему, что движется, сезон оканчивается задолго до срока, отмеренного природой.

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
НА СЕМИ ВЕТРАХ
*Фрагменты семейной
истории*



МИШЕЛЬ КИКОИН — ЖИВОПИСЕЦ ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ

Осенью 1995 года я был в научной командировке в Национальном центре атомной энергии под Парижем. Окончив все свои дела в лаборатории, вечером в пятницу вышел с легким сердцем из станции скоростного метро *Port Royal* и направился по бульвару Монпарнас в сторону знаменитого перекрестка Вавен, бывшего центром артистической и художественной жизни Парижа в достопамятные 20-е годы. Известные кафе «Клозри де Лила», «Дом», «Ротонда», «Куполь» – все эти заведения, расположенные по обе стороны бульвара, описанные во множестве романов и мемуаров тех лет, и поныне привлекают любопытную и праздную парижскую публику. В ближайшем газетном киоске я купил брошюрку *L'officiel des Spectacles* – своего рода «Парижскую кинонеделю», открыл ее на первой попавшейся странице, бросил взгляд на первое попавшееся название и прочитал: *DOCTEUR JEKYLL ET MISTER HYDE de Gerard Kikoine*. Не могу сказать, что это был культурный шок, – к тому времени я уже довольно много знал о существовании разветвленной французской ветви нашего семейства, – но ощущение было весьма сильное.

Впервые о существовании этих далеких, а в те времена *безнадёжно* далеких родственников я узнал, как ни странно, тоже в связи с кино. Как-то в школе нас повели, как это тогда называлось, в культпоход, почему-то на французский видовой фильм про лошадей. В том замечательном возрасте мушкетеры нас интересовали гораздо больше, чем лошади, на которых они скакали. Мы всем составом томились положенные сто минут в темном зале и с облегчением зашевелились, когда по экрану поплыли заключительные титры. И вдруг я вместе со всеми читаю на экране: «Художник картины – МИШЕЛЬ КИКОИН». Зал, заполненный моими соучениками, взревел от восторга. Я ничем не мог удовлетво-

речь любопытство приятелей, а вечером рассказал эту историю отцу. Он задумался и сказал, что было бы странно, если бы этот Мишель оказался просто однофамильцем. Фамилия Кикоин – единственная в своем роде. Согласно семейной легенде, ее избрал для своей семьи один из наших ученых предков лет 150 назад вместо ординарной немецкоязычной фамилии Шмидт. Слово *Kikaion* встречается в Торе всего однажды. Это – тыквенное дерево, в тени которого пророк Иона нашел укрытие от полуденного зноя после своего бесславного бегства из Ниневии. В ашкеназском бытовом произношении фамилия приобрела звучание «Кикоин»... Поэтому, заключил отец, все Кикоины должны быть родственниками. В конце пятидесятых годов гражданам СССР иметь родственников за рубежом убедительно не рекомендовалось, и событие это было предано забвению на многие годы.

Позднее, уже живя в Москве, я все-таки вспомнил про этот странный случай и решил навести справки во французских источниках. В энциклопедическом справочнике *Benezit*, содержащем сведения о всех сколько-нибудь заметных художниках, я нашел целую колонку, посвященную Мишелю Кикоину (1892 – 1968). Там же были сведения о его родителях. Вооруженный этими сведениями, я приступил с вопросами к своему отцу и дяде. Порывшись в скудных семейных воспоминаниях, они вычислили, что их отец и отец Мишеля, по-видимому, имели общего деда – раввина. Имени его никто не помнил.

В конце XIX века существовало две ветви семейства Кикоин. Литовская ветвь была представлена семьей моего деда Кушеля Кикоина, бывшего учителем в захолустном местечке Жагоры (ныне Жагаре) в северной части Литвы, вблизи теперешней латвийской границы. Дед был человеком необыкновенным. Он отказался от карьеры раввина, хотя имел на нее право, да и жена у него была из хорошей раввинской семьи. Окончив педагогическое училище в Петербурге, он стал



преподавателем математики в начальной школе. Кроме иврита, которым он владел в совершенстве, обиходного идиша и латыни, на которой он переписывался с коллегами-латинистами, дед знал французский, немецкий, греческий и, естественно, русский. Он успел дать двум своим сыновьям традиционное домашнее еврейское образование.

Кушель Кикоин. Псков, 1930-е гг.

Оба они в дальнейшем стали физиками. Старший брат Исаак (1908 – 1984) был выдающимся экспериментатором. Известен физический эффект, носящий его имя. Он был одним из основателей атомной промышленности в СССР и одним из отцов советской атомной бомбы. Все награды и почести, которыми советская власть одаривала выдающихся ученых, у него имелись, но каждый вечер он неукоснительно слушал «Коль Исраэль», непременно справлял пасхальный седер с братом и двумя сестрами, а в Йом Кипур обязательно ездил в «командировку» в Ленинград и проводил этот день в синагоге на Лермонтовском проспекте. Любимым его занятием было вечернее чтение (иногда вдвоем с братом) факсимильного издания Кумранских рукописей и сравнение этих текстов с Торой, которую он знал наизусть от первого до последнего слова.

Младший сын Кушеля – Абрам, мой отец (1914 – 1999) – пошел по стопам старшего брата. Он тоже стал физиком-экспериментатором. Вдвоем они написали школьный учебник физики, который, сменив знаменитого «Перышкина», был стандартным учебником для 8-го класса средней школы

в течение двадцати пяти лет, и университетский учебник «Молекулярная физика», которым студенты физических факультетов пользуются до сих пор.

Более благополучные белорусские Кикоины, жившие в Гомеле, были предпринимателями, ремесленниками и финансистами. Семья Мишеля перебралась в Минск, и отец отправил его в Минское коммерческое училище, но ничего путного из этой затеи не вышло. Мальчик покрывал рисунками поля своих ученических тетрадей и, в конце концов, был отдан в «академию» Крюгера, где и нашел друга на всю жизнь – Хаима Сутина. Через три года, в 1908 году, против воли семьи, вместе с Сутином он перебрался в Вильно. Друзья были приняты в тамошнее художественное училище. Там к их компании присоединился Пинхус Кремень. С этого времени три друга были практически неразлучны. И.Г. Рыбаков, в классе которого они занимались, оказался пылким поклонником французских импрессионистов. И хотя в Вильно в те годы вряд ли можно было найти оригиналы Моне или Ренуара, уроки Рыбакова, по-видимому, сыграли роль в последующих событиях.

По окончании училища друзья столкнулись с обычной для молодых художников из черты оседлости проблемой. Дорога в столичные художественные школы Петербурга и Москвы была для них практически закрыта. В художественной жизни Вильно господствовали академические традиции пятидесятилетней давности. И три молодых человека выбрали Париж. На этот раз семья Мишеля не возражала: юноша уже успел зарекомендовать себя активным социалистом, членом Бунда, и родители, по-видимому, рассудили, что из двух зол нужно выбирать меньшее.

Куда должны были направить свои стопы молодые люди, решившие стать художниками и вышедшие весной 1912 года на шумную площадь Наполеона III перед Северным вокза-

лом, на который прибывали в Париж поезда из Прибалтики? До Монмартра, со времен постимпрессионизма слывшего центром художественной жизни Парижа, а значит, и всего мира, – минут сорок пешком. Купола венчающей его церкви *Sacre-Coeur* видны от вокзала. Еще совсем недавно, осенью 1908 года, группа молодых художников, назвавших себя «кубистами» и обосновавшихся в *Bateau-Lavoir* на Монмартре (Пикассо, Брак, Леже, Мари Лорансен и другие), учинила скандал на открытии ежегодного Салона, отвергнувшего работы Брака. Нетрудно было вспомнить подобный скандал, имевший место почти за полвека до того, когда была отвергнута «Олимпия» Мане, ставшая теперь классикой французской живописи.

Однако, начиная с 1910 года, художники стали покидать обжитой Монмартр и один за другим перебираться на южную окраину Парижа, в район Монпарнас, еще недавно бывший сельским предместьем. Этот район состоял из отдельных островков городской застройки, окруженных зеленым морем садов и огородов. Как раз в эту эпоху основные его улицы – бульвары Монпарнас, Распай, авеню дю Мэн – интенсивно застраивались многоэтажными домами, но переулки еще хранили воспоминания о недавней почти сельской жизни. В бывших конюшнях, каретных сараях, складах легко можно было оборудовать помещения для студий, а в кафе и дансингах на бульварах кипела вечерняя и ночная жизнь. Кроме молодых французов, спустившихся с Монмартра, на Монпарнасе стали обосновываться иностранцы. Солідные колонии скандинавов и немцев, прибывавших в Париж для завершения своего художественного образования, нищие эмигранты из Восточной Европы, Испании и Италии, экзотические фигуры, прибывшие из Центральной и Южной Америки и даже из Японии! На Монпарнасе новоприбывшие художники легко находили себе крышу над головой и под-

держку соотечественников, обосновавшихся там несколькими месяцами или годами раньше.

Одним из самых замечательных обиталищ нищих и вдохновенных иноземцев был «Улей» (*La Ruche*), история возникновения которого рассказана в очерке «Войти в Телемскую обитель». Именно в «Улей» направились Кикоин и Кремень с Северного вокзала. Хаим Сутин присоединился к ним в июле следующего 1913 года.

Обитатели сотен студий, перебравшиеся после 1910 года на Монпарнас из разных стран, заполнявшие многочисленные «академии» и художественные школы, делавшие свои первые самостоятельные работы, а по вечерам стекавшиеся в кафе на его главном бульваре, – вот из этого огромного и разношерстного потока возникло странное образование, называемое теперь Парижской школой. Еврейские художники составили существенную ее часть: Шагал, Модильяни и Сутин признаны ее основателями, в числе самых ее заметных представителей – Цадкин, Липшиц, Кислинг, Мане-Кац, Кикоин, Кремень. Но были еще румын Бранкузи, украинец Архипенко, финн Сюрваж, чех Купка, испанцы Миро и Пикабия, мексиканец Ривера, чилиец Ортис де Сарате, японец Фудзита... И никому из них не пришло бы в голову отделять от Парижской школы своих французских друзей, работавших в тех же студиях, участвовавших в тех же выставках, проводивших вечера в тех же кафе на перекрестке Вавен и его окрестностях. Пикассо, Ван Донген, Леже, Дерен, Вламинк, Матисс... невозможно очертить границы. В конце концов, возникновение термина Парижская школа означает всеобщее признание того, что в течение двадцати лет, лет вплоть до начала Великой депрессии 1929 года, центром мировой живописи и местом, где зарождались ее новейшие течения, была недавняя окраина Парижа, район бывших каменоломен, который веселые студенты Сорбонны еще в прошлом веке прозвали Монпарнасом.

К неразлучным друзьям в «Улье» быстро пристало коллективное прозвище «Троїка». Хотя Сутин не имел там постоянного жилья (он довольно скоро перебрался в другую колонию монпарнасских художников на улице Фальгьер), Хаим нередко и подолгу гостил у своих друзей, особенно во времена безденежья, которое бывало либо полным, либо абсолютным. Соседнюю с Мишелем мастерскую в ротонде занимал Марк Шагал. Трое друзей записались в Национальную школу изящных искусств к Ф. Кормону. Жизнь в «Улье», битком набитом эмигрантами, многие из которых, помня о своих птичьих правах, предпочитали на всякий случай держаться подальше от властей предержавших, была далеко не райской. Но чем она привлекала – так это свободой, которой обитатели коммуны пользовались безвозмездно. Никто никого ни к чему не принуждал. В крайнем случае давали совет, но чаще делились пенсионом, полученным от родственников, оставшихся далеко на востоке. Жителей «Улья» часто навещали друзья-поэты – Аполлинер, Сандрар, Жакоб, Сальмон. А что до радостей парижской жизни – так ведь это же Монпарнас! И любой художник знает, что в «Ротонде» или «Доме» он получит свою долю света и тепла, кофе в кредит, а может, и знакомство с маршаном или просто любителем, который заинтересуется его искусством.

Академические принципы мэтра Кормона не слишком вдохновляли Кикоина и его друзей. Мишель проводил долгие часы в Лувре и Люксембургском музее, изучая и копируя работы Делакруа, Шардена, Рембрандта, Курбе, Сезанна и импрессионистов. Городские пейзажи, написанные в это время, еще полны литовской меланхолии («La Ruche под снегом», 1913). Для пополнения бюджета Кикоин работал фоторетушером.

Война 1914 года приостановила бурные художественные процессы, происходившие в недрах Монпарнаса, вынудила граждан стран, противников Антанты, покинуть Францию,

лишила монпарнасцев ценителей и покупателей их произведений и сделала существование нищих иностранцев в Париже еще более неустойчивым. Хрупкая канва вольной жизни «Улья», этой виллы Медичи для нищих, была разрушена в течение нескольких дней. Многие иностранные художники с энтузиазмом откликнулись на призыв Б. Сандрара и Р. Канудо вступать в ряды добровольцев французской армии. Мишель Кикоин тоже записался в армию иностранных рабочих, но через несколько месяцев демобилизовался и вернулся обратно в «Улей». В конце 1914 года он женился на своей соотечественнице Розе Бунимович, уроженке Минска. А в 1915 году у Мишеля и Розы родилась дочь Клэр. Конца войне пока не предвиделось, но художники и поэты (в основном – получившие ранения) начали возвращаться на Монпарнас. Потихоньку стала налаживаться культурная жизнь. В летние месяцы 1916 и 1917 годов Кикоин даже выбирался на «пленэр» на Лазурный берег (в Серэ и Кань). Модильяни представил его своим маршалам Шерону и Зборовскому и нескольким коллекционерам. Пошли первые продажи. Например, коллекционер-любитель, полицейский сыщик Декав, посетив мастерскую Кикоина, унес с собой 15 полотен и 40 рисунков, оставив хозяину 200 франков.

После Февральской революции в России большинство политэмигрантов, составлявших заметную часть клиентуры монпарнасских кафе, исчезли из Парижа, а за оставшимися русскими полиция ненавязчиво, но пристально присматривала. В префектуре в личном деле Кикоина было начертано: большевик, но не опасный.

Наконец наступили мирные дни. Оставшиеся в живых жители художнических коммун Левого берега вернулись на Монпарнас. «Улей» за время войны пришел в глубокий упадок. Беженцы из прифронтовой Шампани, заселившие его в 1915 году, срубили деревья на дрова, развели огороды на газонах. У папаши Буше – основателя «Улья» – не хватало

ни здоровья, ни денег, чтобы привести городок в порядок. Но Мишель Кикоин не покидал «Улей». В 1920 году у него родился сын Жак (Янкель). Мишель к тому времени стал полноправным членом сообщества художников. После первых персональных и групповых выставок он был принят и в Осенний Салон. В 1924 году Мишель и Роза получили французское гражданство, а в 1926 году приобрели дом в бургундской деревне Анэ-сюр-Серэн. По правде говоря, это была полуразвалившаяся крестьянская хижина, но Мишель взял кредит и отремонтировал строение, превратив его в «райский уголок», убежище, куда он возвращался как домой в течение всей своей жизни.

Период «бури и натиска» Парижской школы подходил к концу. Париж заполнили американцы, которым необычайно высокий курс доллара по отношению к франку позволял чувствовать себя богачами. С подачи американцев началось повальное увлечение современным искусством, и Монпарнас превратился в туристский объект. Сбылось меланхолическое предсказание Гийома Аполлинера, который еще в 1913 году, когда все только начиналось, написал в газете *Mercure de France*: *«В тот день, когда какой-нибудь Брюан “восславит” различные уголки этого полного фантазии и кафетериев района ... в тот день Монпарнаса не станет. Агентство Кука приведет сюда свои караваны»*. Нищенской богемной жизни монпарнасских художников, «великому братству ненастных дней» пришел конец. Почти каждый из них нашел свою живописную манеру, обзавелся связями с галерейщиками и подыскал себе более фешенебельное обиталище, хотя многие из старых монпарнасцев предпочли не покидать пределы VI и XIV округов, в которые входят кварталы Монпарнаса.

Мишель Кикоин прожил в проезде Данциг дольше многих своих друзей. Детство Клэр и Янкеля прошло в «Улье», этом необыкновенном царстве свободы, среди художников,

поэтов, маргиналов всех сортов, населявших ветшающие строения, под старыми деревьями, среди корней которых ютились скульптуры, когда-то вывезенные Альфредом Буше с давно забытой всемирной выставки, или оставленные авторами, жильцами «Улья». Но и Кикоины в конце концов покинули обветшавший фаланстер. В 1927 году они перебралась в дом с мастерской в Монруже под Парижем. А в 1933 году Мишель вернулся на Монпарнас и поселился в ателье на улице Brezin, в нескольких кварталах к югу от старого Монпарнасского кладбища, неподалеку от приходской церкви Университетского городка.

К этому времени живописная манера Кикоина окончательно сложилась. Он работал в традиционных жанрах – портрет, натюрморт, пейзаж, причем парижские улицы и дворики вдохновляли его не меньше, чем сельские пейзажи Бургундии или горы Лазурного берега. В отличие от своего друга Сутина, он не нуждался в яростной деформации изображаемого объекта, чтобы достичь желаемой экспрессии, хотя энергичность его мазка сравнима с сутиновской. Природный дар колориста помогал ему запечатлеть буйную игру голубых и лиловых солнечных пятен на скучной, едва прикрытой серо-зеленой виноградной лозой каменной кладке стены крестьянского дома в Анэ-сюр-Серэн («Дом, называемый Шато», гуашь, 1935) или «поймать» порыв ветра, прорывающегося сквозь кроны огромных пирамидальных тополей, нависших черно-зеленой стеной над красными черепичными крышами хижин на короткой деревенской улочке («Большие тополя», масло, 1928). Его палитра, по разнообразию оттенков и тончайших сочетаний разных тонов, близка к палитре импрессионистов минувшего века, но опыт фовизма и, конечно, экспрессионизма – новейших течений европейской живописи во времена его ученичества – существенно сказался на живописной манере Мишеля Кикоина.

Кикоин стал признанным представителем Парижской школы. В 1925, 1927 и 1929 годах прошли его персональные выставки за океаном, в нью-йоркских галереях *Brummer* и *Bernheim*. В 1927 году его работы были представлены в Осеннем Салоне на выставке с широковещательным названием «*Grands et Jeunes d'Aujourd'hui*», что можно перевести как «Зрелые и молодые сегодня». По-видимому, он проходил на этой выставке по разряду «грандов». А в 1928 году его картины появились в Москве на большой выставке «Современное искусство Франции». Кикоин свои картины в Москву сопровождать не стал, отдав предпочтение поездке на юг в Серэ с Сутиним (равным образом не ездил он и на свои выставки в Нью-Йорке). Позднее он выставлялся в группе русских художников на выставках, организованных совместно с советскими культурными организациями в парижских галереях *d'Alignan* и *Zak*.

С началом мирового кризиса золотые годы Монпарнаса закончились. После краха Уолл-стрита в октябре 1929 года почти вся колония американцев отправилась на родину. Немцы и скандинавы вернулись домой еще раньше, бывшие эмигранты из стран Восточной Европы стали признанными мэтрами французской живописи и скульптуры, а Монпарнас превратился в обычный парижский район, правда, со своей легендой. Хотя нельзя не признать, что найти район *без* своей легенды в этом городе не так-то просто! Несмотря на всемирный экономический кризис, положение Мишеля Кикоина в художественном мире Франции осталось довольно прочным. В различных галереях организовывались его персональные выставки, картины Кикоина стали приобретать для постоянных экспозиций музеев разных стран: его полотна купили художественные музеи Филадельфии, Токио, Гренобля, уже упоминавшаяся галерея *Bernheim* в Нью-Йорке.

Анэ-сюр-Серэн остался прибежищем души художника. Как он сам вспоминал: «*В Анэ-сюр-Серэн под насмешливыми*

*взглядами бургундцев я вышагивал по холмам и равнинам, вооруженный до зубов холстами, кистями и красками! Девушки позировали мне на берегу реки, и я расплачивался с ними лимонадом и карамельками; они этим довольствовались, дни пролетали быстро, слишком быстро, как это всегда бывает в ожидании чуда...»**

Тем временем наступил 1939 год. Немцы вторглись в Польшу, началась «странная война». Мишеля Кикоина мобилизовали во французскую армию, он служил в резервном полку в Суасоне. Дом в Анэ был разграблен, пропало много картин и акварелей. После капитуляции Франции Кикоин был демобилизован, и остался в оккупированном Париже. Будучи обязанным по приказу оккупационных властей носить желтую звезду Давида, Кикоин приколот ее на лацкан пиджака, «чтобы она гармонировала с желтизной галстука», как он с некоторым высокомерием объяснял друзьям. Хаима Сутина это объяснение не удовлетворяло. Он свою желтую метку выкинул и с Мишелем основательно разругался. Он уверял друга, что эсэсовцы фотографируют всех, носящих желтые звезды, и составляют списки. Мишель отвечал, что он еврей и не видит причины скрывать это и отделять себя от других евреев. К концу 1941 года ситуация в Париже сильно ухудшилась, и Янкель, находившийся в свободной зоне в Тулузе, уговорил Мишеля присоединиться к семье. Там уже обосновались многие парижские друзья, и в их числе Пинхус Кремень. Сутин оставался в оккупированной зоне. Он умер в Париже в 1943 году в больнице от прободения язвы желудка. Хаим Сутин похоронен на старом Монпарнасском кладбище... В Тулузе Мишель Кикоин и его семья оставались до конца войны. В галерее *Chappe-Lautier* в 1945 году была устроена его персональная выставка, а художест-

* Цит. по кн.: Kikoine: Les pionniers de l'Ecole de Paris.

венный музей города приобрел два его полотна. Первое послевоенное лето Мишель провел в Анэ-сюр-Серэн.

Вернувшись к мирной жизни, Кикоин продолжал работать в своих излюбленных жанрах портрета и пейзажа, регулярно выставлялся в галереях Парижа, Монпелье, Нью-Йорка. Несмотря на свою устойчиво высокую репутацию в Соединенных Штатах, он так и не выказал особого желания посетить Новый Свет. В то же время провозглашение еврейского государства в 1948 году вызвало глубокий и сочувственный интерес художника, и уже в 1950 году он предпринял свое первое путешествие в Эрец-Исраэль. Эта поездка продолжалась три месяца. Он смотрел на Израиль глазами живописца – открыл для себя ослепительный свет, обрушивающийся с иерусалимских небес на сухие вершины Иудейских гор, приморские дюны, живописные арабские деревни. Он много писал, встречался с родственниками, в свое время перебравшимися в Палестину. В иерусалимском Национальном музее, в Хайфе и Тель-Авиве прошли его персональные выставки, несколько картин были приобретены музеями страны. Из второй поездки, состоявшейся в 1953 году, он привез альбом цветных литографий «Дети Израиля», вышедший в Париже через три года. Третью и последнюю поездку в Израиль Мишель Кикоин предпринял в 1958 году.

В послевоенные годы Кикоин приобрел вкус к путешествиям. Кроме Израиля, он совершил поездку по Испании, неоднократно бывал в Англии, подолгу гостил у дочери, жившей в те годы на юге Франции. Среди выставок с его участием, во множестве проходивших в различных городах Европы и Америки, стоит отметить большую экспозицию «Русские художники-эмигранты в Париже» (галерея *Redfern* в Лондоне, 1954), выставки «Сутин и его круг» в Нью-Йорке (1959), «Сутин, Модильяни и их время» (музей *Galliera*, Париж, 1961). В 1964 году «Салон художников – свидетелей нашего времени» присудил Кикоину первый приз за работу

«Любовь, источник жизни» – большое полотно, выполненное энергичными мазками в охристых тонах и изображающее молодую женщину, лежащую на траве, прижавшегося к ней ребенка, и мужчину, примостившегося у их ног и глядящего на своих близких с любовью... В 1967 году Мишель отдал последнюю дань другу своей молодости Хаиму Сутину, выполнив его портрет в смешанной технике (гуашь, акварель, пастель). 4 ноября 1968 года Мишель Кикоин умер в своей мастерской на улице *Brezin* от инфаркта.

В октябре 1973 года в *Galerie de Paris* состоялась большая ретроспективная выставка М. Кикоина, на которой было представлено 94 его картины. А за три недели до этого события в той же галерее закончилась выставка Сутина. Так пути двух друзей, покинувших за шестьдесят лет до того свою бедную родину, чтобы стать настоящими живописцами в художественной столице мира, пересеклись в последний раз в одной из крупнейших парижских галерей. Хаим Сутин вошел в историю искусства как один из основателей Парижской школы, открывшей новые горизонты для живописи XX века, а Мишель Кикоин стал одним из характерных ее представителей.

Сын Мишеля Жак Кикоин также стал профессиональным художником. Он подписывает свои картины псевдонимом *Yankel*. Вместе с сестрой Клэр он основал Фонд Кикоина под эгидой общественной организации «*Fondation du Judaïsme Français*». Основной своей задачей Фонд считает собирание работ Мишеля Кикоина и художников круга Парижской школы, издание альбомов и монографий, посвященных его творчеству, и «возрождение интереса, который подвигнул этих иностранцев со всех четырех стран света собраться во Франции в начале века». Дочь Мишеля Клэр на деньги Фонда построила в кампусе Тель-Авивского университета центр изобразительных искусств, который носит имя

ее отца – «Бейт-Кикоин» (Дом Кикоина). В одном из его залов выставлены работы Мишеля. Картины Мишеля Кикоина имеются также в музее Реувена и Эдиты Гехт в Хайфе.

Автопортрет много говорит о художнике, иногда больше, чем он сам желал бы сказать о себе. Наверно, еще больше сообщают о художнике портреты, сделанные его друзьями. Мишель Кикоин оставил немало своих автопортретов, выполненных и маслом, и карандашом. Разглядывая эти портреты и фотографии, сделанные в разные периоды жизни художника, я невольно искал черты фамильного сходства с лицами моих родных – отца и дяди. Фотографическое сходство, особенно на снимках 50-х – 60-х годов, найти довольно трудно. Невысокий, круглолицый, с аккуратно сформированными усиками, классическим еврейским «высоком лбом» – лысиной, плавно восходящей от надбровных дуг к темени и аккуратно ограниченной подстриженными височками. Все это идеально подходило к типу человека, ведущего регулярный «буржуазный» образ жизни, научившегося спрямлять острые углы, находить общий язык с самыми разными людьми, быть приятным в компании друзей, собравшейся в кафе на бульваре Монпарнас, и счастливым в кругу семьи. Короче – преуспевающего и признанного мэтра, живущего в обыкновенном городе Париже, когда-то бывшем художественной столицей мира, умеющего радоваться жизни, а на вопрос корреспондента, чем он собирается заняться в ближайшие годы, заданный в 1964 году, коротко ответившего – «стареть».

Но графические и живописные автопортреты с этими фотографиями как-то не вполне совпадали. Вот автопортрет 1920 года (акварель, перо) – серьезный еврейский юноша с большими, слегка удивленными глазами, прикрытыми круглыми очками и пухлыми не улыбающимися губами; чистый лист бумаги в одной руке и карандаш в другой.

Автопортрет маслом 1944 года – человек, за плечами которого длинная жизнь. Губы сложились в улыбку, но веселой эту улыбку никак не назовешь. Быстрый эскиз 1948 года, сделанный свинцовым карандашом, – небритые щеки, коробочка тфилин, наложенная на лоб... Другой рисунок того же года – художник в капитанке и матросской робе, вложивший немалую толику самоиронии в свое изображение. Гуашь 1959 года – тот же ракурс en face, что и на юношеском рисунке 20-го года, такие же круглые очки, скорее увеличивающие, чем прикрывающие карие глаза, но вместо вопрошающего взгляда – спокойное согласие с увиденным.



М. Кикоин. Автопортрет. 1948 г.

Внимательно изучавший Рембрандта, во многих своих автопортретах Мишель Кикоин придавал себе формальное сходство с голландцем, каким мы его знаем по поздним автопортретам, исполненным в доме на *Jodenbreestraat* в Амстердамском гетто. Берет, косо посаженный на голову, невесты, многое видевшие глаза в сетке морщин, улыбка человека, способного понять и принять все узнанное и пережитое (рисунок чернилами, штриховка шариковой ручкой, 1960). Такой человек мог оставаться ближайшим другом невыносимого Хаима Сутина на протяжении всей жизни этого не

прикаянного гения, так и не вписавшегося в круг респектабельных мэтров Парижской школы, мог отказаться поехать в Нью-Йорк на собственный вернисаж, а вместо этого при первой же возможности отправиться в только что отвоеванную евреями Палестину и восхищаться там живописной нищетой арабских деревень, мог с высокомерной гордостью носить на лацкане пиджака звезду Давида в черные годы немецкой оккупации Парижа...



А. Модильяни. Портрет М. Кикоина

И вот карандашный портрет молодого Мишеля Кикоина, сделанный Модильяни в 1919 году. Юноша в пенсне, сидящий, скрестив руки за столиком монпарнасского кафе. Чуть-чуть измененные пропорции, удлиненное в обычной манере Модильяни лицо, четко прорисованный нос и абсолютно точно схваченный изгиб губ. И я, наконец, вижу черты молодых Абрама и Исаака, знакомые мне с детства по старой фотографии 1932 года, сделанной в родительском доме во Пскове.

* * *

В 1981 году моему отцу в Свердловск пришло письмо из Франции. Конверт был весьма потрепан, а в письме написано следующее:

Париж 28.11.81

Мсье,

Некоторое время тому назад мой друг, парижский физик, показал мне книгу «Physique Moléculaire»*, написанную Вами в соавторстве с Вашим братом. Я ее бегло просмотрел (хотя, конечно, не понял). Возможно, мы с Вами состоим в отдаленном родстве. Я – художник, как и мой отец Мишель Кикоин (умерший в 1968 году), профессор живописи в Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris (мне 60 лет). У меня во Франции есть сестра (65 лет). Когда мой отец приехал в 1912 году во Францию вместе с Сутином и Кремнем, он оставил свою семью в Гомеле и мою мать в Минске**.

Возможно, у Вас имеются сведения о Вашей семье, которые могли бы помочь установить: в какой связи она находится с моими дедушкой и бабушкой?

Если это представляет для Вас интерес, я мог бы Вам выслать монографию, посвященную моему отцу, в которой имеются фотографии членов семьи Кикоин, оставшихся в СССР.

Может быть, окажется, что и нет предмета для переписки, и что фамилия Кикоин весьма распространена в СССР, но я верю, что это не так.

Буду Вам весьма признателен, если Вы найдете возможным ответить на это письмо. С надеждой и братским приветом,

Якоб Кикоин (Янкель)

* Университетский учебник «Молекулярная физика» И.К. Кикоина и А.К. Кикоина был переведен на многие языки, в том числе и на французский.

** Роза Бунимович, невеста Мишеля, приехавшая к нему в Париж в 1914 г.

Отец на это письмо не ответил. У него к тому времени были достаточно сложные отношения с КГБ, и он точно знал, что находится у них «под колпаком». Он позвонил старшему брату и мне в Москву, рассказал про письмо, и свое решение не отвечать мотивировал тем, что не хочет, чтоб его письма вскрывали и читали те, кому они не предназначены. Его родителей, которые могли бы пролить какой-то свет на давние семейные отношения, к тому времени давно уже не было в живых. Кушель умер за несколько лет до войны, а его жена Буня, оставшаяся одна во Пскове, не успела эвакуироваться и разделила страшную судьбу евреев, попавших в руки немцев, занявших Псков в 1941 году.

Прошло еще несколько лет, железный занавес заметно проржавел, и у меня, наконец, появилась возможность ездить во Францию в научные командировки. Парижский телефон Янкеля у меня был, но каждый раз, когда я собирался набрать номер, я вспоминал об этой несостоявшейся переписке... и откладывал звонок до следующего приезда. В конце концов, визит Янкелю и Клэр на *Rue de l'Universite* нанесла со своим мужем* моя дочь Майя, к тому времени натурализовавшаяся в Америке и не отягощенная нашими стародавними комплексами. А следующие поколения парижских Кикоинов, принадлежащие к еще одной ветви, происходящей от того же гомельского раввина, установили связь с внуками Исаака Кикоина. К этой ветви принадлежат кинорежиссеры и продюсеры Жерар Кикоин и его брат Жильбер и киноактриса Эльза Кикоин. Но это уже совсем другая история.

* *Alexander Soifer*, профессор математики в университете штата Колорадо – сын Юрия Соифера, замечательного еврейского графика, иллюстратора и театрального художника, который, в свою очередь, был учеником Александры Экстер – «амазонки авангарда», по выражению Ю. Анненкова. **Как известно, не мир тесен, а слой тонок.**

СТАРШИЙ БРАТ

Когда я задумываюсь, чем выделялся Исаак Кушелевич Ки-коин среди окружавших его людей, да и вообще среди всех, кого я знаю, вспоминаются отнюдь не его великие научные результаты, заслуги перед страной, должности, награды и регалии – все это было и у других людей из плеяды, к которой он принадлежал. *Он же был человек, знающий меру всех вещей.* Откуда пришло к нему это знание, я начал по-настоящему понимать только когда уже не стало ни его, ни его младшего брата Абрама – моего отца. Мне кажется, что знание это каким-то образом передавалось и тем, кому приходилось с ним общаться по долгу службы или в домашней обстановке. Выходя из его силового поля и возвращаясь к своей повседневной жизни, люди могли и позабыть о переданной им мудрости... но что-то оставалось. Я уверен, что жизненные траектории почти всех людей, которым довелось знать И.К., хоть немного, да изменились в результате общения с ним. В *правильную* сторону. Один английский литературный персонаж высказал пожелание, чтобы на все события в его жизни были существенные причины. Жизнь И.К. протекала в такую эпоху и в такой стране, где подобное пожелание практически не имело шансов быть услышанным и исполненным. И тем не менее, именно так сложилась его биография, и в этом отношении он тоже отличался от большинства своих современников.

Хотя бóльшую часть своей научной жизни я провел в Институте атомной энергии, одним из основателей которого был Исаак Кушелевич, по своей профессии теоретика я практически не имел пересечений с И.К. даже в тот период, когда группа Ю.М. Кагана, к которой я имел честь принадлежать, входила в состав одного из секторов Отдела приборов

теплового контроля (ОПТК).^{*} Ну, разве что семинары в его кабинете, где никого нельзя было «заговорить» формулами, а требовалось ясное понимание физического смысла обсуждаемого предмета. Но в жизни нашей семьи И.К. присутствовал всегда, хотя в Свердловск, где мы жили, он наезжал нечасто, в основном по пути на «базу» в Верх-Нейвинск. Для моего отца старший брат был абсолютным авторитетом и безусловным образцом для подражания. Ну а значит и для меня тоже.

Мои первые отчетливые воспоминания относятся к лету 1952 года – мы едем в необъятных размеров машине «ЗиМ» темнозеленого цвета по узкой пригородной дороге на недавно полученную дачу. Машина, дача, телевизор «Север» в огромной гостиной – все новенькое. На маленьком экранчике за линзой громко ссорятся мужчины во фраках. Дядя Исаак с моей мамой обсуждают игру актеров и сравнивают экранизацию с довоенными ленинградскими постановками, которые оба помнят в деталях. Из их разговора я узнаю, что на экране лермонтовский «Маскарад», а главный ругатель Арбенин – актер Мордвинов. Дядя Исаак весел и ласков с домашними, внимателен к провинциальным родственникам. Из разговоров взрослых я улавливал, что все эти чудеса – награда за какую-то важную работу, но, конечно, не имел ни малейшего понятия о том, что недавно, наконец, запущен Комбинат, и в жизни И.К. наступила коротенькая передышка после многих лет безумного каждодневного напряжения.

^{*} Под этим безобидным названием скрывался мощный исследовательский центр, в котором под руководством И.К. Кикоина разрабатывались физические и инженерные принципы разделения изотопов урана. Экспериментальная база центра вблизи уральского городка Верх-Нейвинск в дальнейшем превратилась в Электрохимический комбинат, процветающий и по сей день.

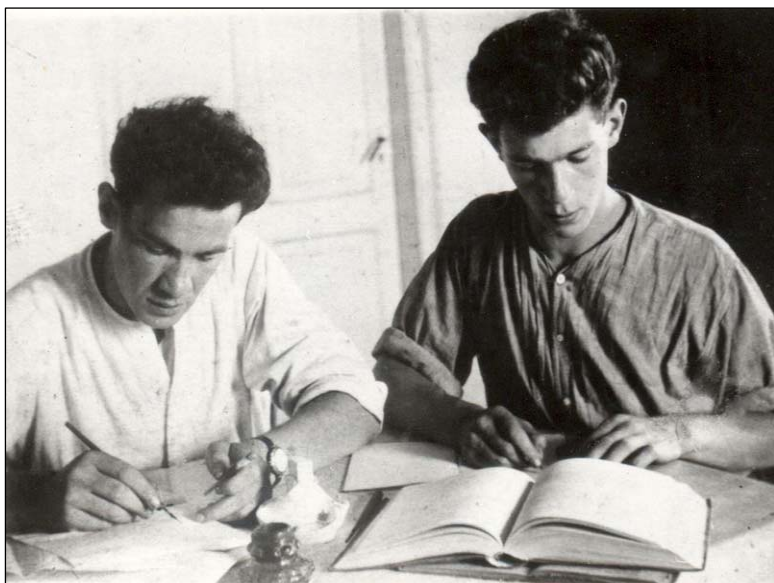
На следующий день по дороге с дачи в Москву машина сворачивает с шоссе направо на прямую улицу, ведущую сквозь хвойный лес к ярко-желтому дому. Перед домом небольшая площадь, а вокруг – тоже лес. Дяде нужно ненадолго заглянуть в Институт, он быстро взбегает по лестнице и исчезает за дверями. Потом мимо низкорослых домиков, похожих на те, что были выстроены руками пленных немцев во многих окраинных районах моего родного Свердловска, мы едем на городскую квартиру. Дом на Песчаной улице огражден глухим забором и попасть туда можно только через проходную с охраной. Да и дядя Исаак передвигается от машины до подъезда, по лестнице до квартирной двери, окруженный парой «секретарей», одетых, несмотря на летнюю погоду, в длинные плащи. Только в прихожей сопровождающие «отлипают» и удаляются в маленькую комнатку неподалеку от входной двери. Режим.

В те времена фамилия наша отнюдь не была на слуху – до журнала «Квант»*, до школьных учебников, до статей в энциклопедиях было еще далеко. Поэтому И.К. «секретный академик», для нас с сестрой оставался дядей Исааком – большим, сильным, умеющим ответить на любой детский вопрос и каким-то образом помочь взрослым с решением житейских проблем в те времена, когда даже билеты на поезд добывались с боем. По мере взросления я узнавал от отца подробности их с братом холостяцкой физтеховской жизни в пустой даче в Лесном, о том, как младший брат, работавший лаборантом, получал рабочую продовольствен-

* «Квант» – научно-популярный физико-математический журнал для школьников, основанный академиками И.К. Кикоиным и А.Н. Колмогоровым в 1970 г. На материалах этого журнала и приложения к нему (Библиотечка «Кванта») воспитывалось несколько поколений физиков и математиков во всех республиках СССР. Журнал продолжает выходить и по сей день в российской и американской версиях.

ную карточку и обеспечивал хлебом и сахаром старшего брата, таковой не имевшего, о том, как И.К. сам выдувал стеклянные трубки и впаивал в них электроды, чтобы иллюминировать фасад ЛФТИ перед праздниками. Все это было в Ленинграде в баснословные тридцатые... Чем же дядя занимался за стенами института, выходящего на площадь ярко-желтым фасадом, и зачем он ездил на свою загадочную «базу» – тайна сия велика была. Режим по-прежнему соблюдался, хотя «секретарей» уже не было, проходная на Песчаной опустела и сквозь ворота можно было ходить свободно.

В результате я узнал о «гражданской» научной деятельности И.К. гораздо раньше, чем об его участии в Проекте. Про фотомагнитный эффект Кикоина – в курсе теории переноса, который нам преподавал в Уральском госуниверситете П.С. Зырянов, а про потрясающий эксперимент с парами ртути – прямо из уст И.К. еще в тот период, когда он его



Исаак и Абрам Кикоины. Псков, 1932 г.

только ставил. Отец с дядей в его кабинете на Песчаной обсуждали, что произойдет раньше – превращение газообразной ртути в жидкость или появление у ней электропроводности. Пристроившись в кресле в углу комнаты и затаив дыхание, я слушал их аргументацию. Студенческих мозгов не хватало, чтобы вставить что-нибудь разумное в беседу старших, но я понимал, что у меня на глазах делается Физика...

Зимой 1966/67 г., во время очередной командировки «на базу», И.К. заехал к нам. Братя, как всегда, до поздней ночи просидели за разговорами, нещадно дымя за закрытой дверью отцовского кабинета, а утром, когда дядя уехал, отец вдруг сказал мне:

– Не хочешь поехать в Москву делать дипломную работу в Институте атомной энергии?

Вопрос прозвучал как гром среди зимнего неба, и я согласился, не успев испугаться. В ту же зиму случилась первая в моей жизни «Коуровка» – уральская зимняя школа, на которую съезжались лучшие в стране теоретики и экспериментаторы-твердотельцы. Она проходила на озере Чебаркуль – в десятке километров от биостанции Миассово, где тогда служил «зубр», Николай Владимирович Тимофеев-Рессовский. Он был приглашен на Коуровку в качестве лектора на свободную тему – говорил о том, что теперь называется экология, а тогда еще только едва нащупывалось в качестве отдельной ветви научного знания. Царили на той Коуровке будущие диссиденты Саша Воронель и Марк Азбель, с которыми мы теперь встречаемся в коридорах Тель-Авивского университета, а среди участников школы было некоторое количество «курчатовцев». Когда я познакомился с одним из них, Иваном Альтовским, он, узнав мою фамилию, тихонько ахнул, и тут я услышал первый в своей жизни дифирамб Исааку Кушелевичу. Дифирамб был абсолютно искренний – я даже не успел сказать Ване, что собираюсь на диплом в ИАЭ. От него я услышал про большой отдел, которым руко-

водит И.К. – именно руководит, а не командует, про то, как сотрудник или даже визитер из другого подразделения, придя к нему с научным вопросом никогда не покидает кабинет академика неудовлетворенным... За давностью лет я не могу восстановить всех деталей нашего разговора, но помню, как в его результате почти улетучился мандраж провинциального студента перед предстоящим дебютом в столичном научном центре. Ваня же, узнав о моих планах, сказал:

– Ну, вам очень повезло, молодой человек.

И вот весной 1967 года мы с моим другом и однокурсником Витей Коном переступили порог ИАЭ и впервые вошли в старенькое двухэтажное здание ОПТК. Встретили нас там не сказать, чтоб с распростертыми объятиями – наши будущие руководители, Л.А.Максимов и А.М.Афанасьев, играли блиц в маленькой комнате теоргруппы и все никак не могли наиграться. Наконец, они смешали фигуры, Максимов провел нас по коридору, впихнул в одну из дверей и мы предстали перед будущим начальником. Юрий Моисеевич Каган прервал увлекательный разговор о фононном спектре олова с Женей Бровманом, с тоской посмотрел на уральских студентиков и вместо «здрасьте» спросил:

– Ну, вы хоть квантовую-то механику проходили?

Мы ее проходили. Женя ободряюще улыбнулся, рассказ Альтовского о духе ОПТК еще не выветрился у меня из головы, и я был почти уверен, что мы с Витей найдем в этом здании свое место. В общем, так оно и произошло.

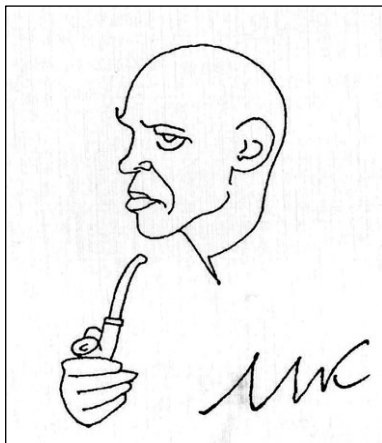
Я твердо помнил предотъездное напутствие отца – не приставать без крайней надобности к занятому человеку – и заходил в предбанник к Прасковье Александровне, бессменному секретарю И.К., только подписывать бумажки, сопровождавшие нашу студенческую и аспирантскую жизнь, а в кабинет – только будучи позванным. Прошло время, я стал сотрудником отдела физики твердого тела. Лаборатория Ю.М. Кагана по-прежнему квартировала в Отделе И.К. Ки-

коина, и акцидентные визиты в угловой кабинет время от времени случались. В один из таких визитов И.К. попросил меня прочитать «глазами недавнего студента» текст вузовского учебника по молекулярной физике, над вторым изданием которого братья Кикоин тогда работали. Я его прочитал и сказал, что за время, прошедшее с выхода первого издания (1963 г.) произошла революция в физике фазовых переходов: появились скейлинговая теория критических флуктуаций, и хорошо бы этот факт отразить в переиздании. И.К. весело на меня посмотрел и сказал:

– Ну, вот ты и напиши.

И я согласился, не успев испугаться. Написанный мной параграф подвергся суровому редактированию и, в конце концов, был включен в текст учебника. Прошло еще несколько лет, и как-то при случае И.К. спросил, нет ли у меня идей, которые могли бы быть полезны для «Кванта». Идей в тот момент не было, но подумав немного я предложил тему для статьи: «Что такое потенциальная яма?» Тема была одобрена,

статья написана и блестяще проиллюстрирована Иваном Максимовым, сыном Л.А. Максимова, будущим известным аниматором. Теперь я понимаю, что И.К. деликатно пытался привлечь меня к фамильному делу – физическому образованию, но я тогда был поглощен собственными попытками сотворить что-нибудь научное, и педагогической инициативы, увы, не проявлял.



Исаак Кушелевич Кикоин.

Рисунок Л.А. Максимова

Следующий неожиданный вызов в знаменитый кабинет имел место в июне 1983 г.

– Завтра 60-летие академика Виталия Иосифовича Гольданского, – сказал И.К., – и Институт должен преподнести юбиляру адрес. Что-нибудь не слишком официальное. Какие-то материалы у нас имеются, но они уж слишком неофициальные, в стиле раешника. Ты можешь сочинить что-нибудь подобающее? Сроку – три часа, до окончания рабочего дня...

И я опять согласился, не успев испугаться. Чтобы уложиться в назначенный невозможный срок, пришлось прибегнуть к безотказному методу перелицовки классического сочинения по мерке юбиляра. Стишок на пушкинский мотив «Жил на свете рыцарь бедный...» был признан подобающим. На следующее утро я был удостоен первой прижизненной публикации: вчерашнее сочинение, оттиснутое золотом по белому, да еще с иллюстрацией – графическим портретом юбиляра, исполненным опять-таки Максимовым, но на этот раз старшим, – было вложено в красивую папку и заняло свое место в стопке подобных же папок на юбилейном заседании.

Через полтора года после этих веселых событий Исаака Кушелевича не стало, и та особая атмосфера ОПТК, о которой я когда-то услышал от Ивана Альтовского, а потом и сам ей дышал,



В дни 100-летия со дня рождения И.К. Кикоина у его памятника во Пскове. Слева направо: дочери И. Кикоина: Надя и Люба, племянники: Костя и Жена

начала истончаться быстро и неотвратимо. Пришли другие люди и настали иные времена...

Об академике Кикоине написано много воспоминаний его сотрудниками, коллегами, друзьями и родственниками, но для меня самым точным и приоткрывающим тайну его личности остается коротенький текст, надиктованный на магнитофонную пленку академиком Львом Андреевичем Арцимовичем. Незадолго до 60-летнего юбилея И.К. его жена, Вера Николаевна, решила записать на магнитофон мнения о юбиляре его ближайших друзей. На ловца, как говорится, и зверь бежит: через несколько дней, во время утренней прогулки, на дачу Кикоинов зашел ближайший сосед – Лев Андреевич. Вера Николаевна тут же включила свой прибор и Арцимович экспромтом выдал краткую, но глубокую характеристику своему старому другу. Когда слушаешь эту магнитофонную запись, кажется, что он плавно зачитывает лежащий перед ним текст, но в действительности это чистая импровизация на заданную тему.

Ключевые слова в этой речи весьма неожиданны и совершенно выбиваются из контекста юбилейных характеристик: он называет своего друга «глубоким догматиком» и повторяет это определение несколько раз в течение короткого спича. Он говорит, что этот догматизм «имеет своеобразную талмудическую мрачность и, увы, начинает превалировать в последнее время... Может этому имеются свои причины...» Арцимович вспоминает также, что еще в физтеховские годы И.К. «ужасно любил цитировать наизусть Библию и разные другие каноны. При этом в его суждениях явно чувствовалось заимствование от древних еврейских мудрецов, и это у него сохранилось до настоящего времени». Напомню, что запись относится к 1968 году. О временах, когда бывшие физтеховцы были призваны к тому, что составило вроде бы главное дело их научной жизни, увенчанное

всеми возможными наградами и регалиями, Лев Андреевич говорит тоже отнюдь не в канонических выражениях. Упомянув о 30-х годах, когда И.К. открыл свой фотомагнитный эффект, он считает должным сказать, что «у нас всех в то время были крайне оптимистические взгляды на будущее, никто и не предполагал, что... произойдут разного рода внутренние события, и трагедии, и эта страшная война, которая нас так сильно подкосила. Но, в конце концов, я очень рад, что нам с Исааком удалось выбраться из этой эпохи: погибли Игорь Курчатов, П.П. Кобеко, Я.И. Френкель и многие другие»^{*}.

Эту же «талмудическую мрачность» можно прочесть на лице учителя Кушеля Кикоина на единственной фотографии отца Исаака и Абрама, сохранившейся со времен довоенной жизни семьи во Пскове. Я думаю, что суждения древних еврейских мудрецов, усвоенные И.К. в детстве, предопределили весь его жизненный путь ученого, учителя, организатора и прочая, помогли ему выстоять во всех тех событиях и трагедиях, о которых глухо упоминает Лев Андреевич в своем предъюбилейном экспромте, и вернуться к любимой им фундаментальной физике после того, как десять лучших лет научной зрелости были отданы без остатка созданию страшного разрушительного «изделия».

Осенью 2005 года я получил e-mail от неизвестного мне молодого человека по имени Эйтан Окунь, выпускника университета Бар-Илан в Тель-Авиве. Он писал, что занимается составлением генеалогического древа своего семейства и спрашивал, не имею ли я отношения к профессору Исааку К. Кикоину. По его семейным преданиям выходило, что его прабабушка состояла с профессором в родстве. Фамилия ее бы-

^{*} Л.А. Арцимович сказал именно «погибли», хотя все упомянутые им ученые умерли естественной смертью.

ла Майофис. Эйтан смог проследить семейные корни вглубь времен вплоть до 1785 года. До того в еврейской общине Курляндии, откуда Майофисы были родом, записи актов гражданского состояния не велись. Фамилия нашей бабушки, жены Кушеля Кикоина действительно была Майофис. Через пару месяцев мы встретились. Эйтан привез с собой своего двоюродного деда Герцля Фонарева, который переехал в Израиль из Риги еще в начале 70-х годов. Герцль, несмотря на преклонный возраст, сохранил отменную память, и он рассказал, что Майофисы были ветвью старинного рода, в каждом поколении которого появлялись выдающиеся раввины, составлявшие гордость еврейской общины Прибалтики. Но самое интересное – это то, что где-то в середине 60-х годов этот человек созвонился с Исааком Кушелевичем, они встретились и «посчитались родством». Я так и не знаю, рассказывал ли И.К. кому-нибудь об этой встрече. Во всяком случае, от отца я ничего об этом не слышал.

Иногда по вечерам, когда здание ОПТК пустело, поток посетителей иссякал и телефон умолкал, И.К. доставал с верхней полки стенового шкафа факсимильное английское издание «Кумранских рукописей» и начинал читать с любой страницы знакомый ему с детства текст, когда-то в древности нанесенный на пергамент архаическим арамейским начертанием. Я знал об этом от сотрудника И.К. Якова Абрамовича Смородинского и от своего отца. Однажды, уловив такой вечер, я зашел в кабинет с тоненьким выпуском «Палестинского сборника», в котором была помещена статья о Праведном Наставнике – эсхатологическом персонаже Кумранских архивов, и попросил И.К. разъяснить непонятные места в этом академическом труде. Том «Рукописей» был немедленно извлечен из шкафа, и только настойчивый телефонный звонок жены И.К. Веры Николаевны с напоминанием о стынущем ужине прервал единственный очный урок, преподанный мне Исааком Кушелевичем.

МЛАДШИЙ БРАТ

Я провел неделю после похорон отца в его кабинете, служившем ему убежищем и чем-то вроде монастырской кельи в течение последних 55-ти лет его жизни, за разборкой бумаг, хранившихся в ящиках его огромного стола, которые в детстве казались мне бездонными. Этот кабинет – наверно, лучшее место для поминовения и размышлений о том, чем была его жизнь: та ее часть, которой я был свидетелем, и та, более важная, о которой я знаю из его и маминых обрывочных воспоминаний. О себе он обычно рассказывал только в связи с историями других людей или отвечая на прямой вопрос.

Про такой уход из жизни говорят – умер как святой. На рассвете, во сне, через день после Йом Киппур... Его лицо в гробу в день похорон было абсолютно спокойным, как у человека, полностью подготовившегося к смерти. Я успел пообщаться с ним за две недели до его ухода. Его разум был в полной силе, мы обсуждали многое, и в том числе меру человеческих бедствий и страданий. Свое немощное положение лежачего больного он переносил стоически. Когда я в какой-то трудный момент попытался привлечь библейские примеры, он коротко кивнул, и мне стало ясно, что он давно уже все на себя примерил.

Одной из последних публикаций, где упоминается его имя, стала книга С. Ефимова – альпиниста, одного из лучших папиных учеников, взошедшего на Эверест в составе первой российской команды, в формировании которой отец принимал живейшее участие, о чем ниже. Эта книга описывает восхождение группы Ефимова на Макалу, один из самых зловещих гималайских пиков. Первая глава этой книги озаглавлена: «Абрам Кикоин и Дон Кихот». Я думаю, что это сравнение наилучшим и почти исчерпывающим образом определяет личность моего отца. Большая чугунная фигура Дон Кихота каслинского литья стояла на отцовском столе

последние сорок пять лет его жизни, а маленькая ее копия стоит сейчас на моем столе здесь, в Израиле.

Жизнь Абрама Кикоина непросто определить несколькими словами: физик-экспериментатор, учитель, альпинист, сын своего народа... Начало его научной карьеры было многообещающим. Он оказался в харьковском УФТИ в середине 30-х годов вместе с другими выпускниками ленинградских вузов по личному выбору Л.В. Шубникова*, собиравшего команду для вновь организуемой криогенной лаборатории, в которой Лев Васильевич предполагал реализовать свои многочисленные физические идеи. Друзьями отца были будущие классики советской физики: И.Я. Померанчук, Н.Е. Алексеевский, братья Е.М. и И.М. Лифшиц, А.К. Вальтер... Л.Д. Ландау пригласил его вести практикум по курсу общей физики, который Лев Давидович читал в университете. Первая работа отца в качестве аспиранта Шубникова была опубликована в журнале «*Nature*» в 1936 году, и в мировом списке публикаций по сверхтекучему гелию она числится под почетным третьим номером. Следующие две его работы на эту тему появились в 1938 году в том же «*Nature*», но там вместо Шубникова в титуле фигурирует Б.Г. Лазарев, сменивший его на посту заведующего лабораторией. Шубникова арестовали в августе 37-го и осудили со зловещей формулировкой «десять лет без права переписки». Его жена Ольга Николаевна Трапезникова была на последнем месяце беременности. Отец проводил ее в роддом, а когда на следующий день он пришел в институт, сотрудники шарахались от него, как от зачумленного. Замена одного соавтора на другого была произведена

* Л.В. Шубников (1901 – 1937) – выдающийся физик-экспериментатор, один из основоположников советской физики и техники низких температур. Из многих обнаруженных им эффектов один вошел в историю науки под именем эффекта Шубникова – де Хааза.

«старшими товарищами», и с аспирантом ее координировать никто не стал...

После 38-го года атмосфера в УФТИ изменилась непоправимо. Большая часть ленинградского десанта тем или иным путем вернулась в столицы. Отец покинул УФТИ одним из последних. Осенью 1941 года, вдвоем с Антоном Вальтером, они брели пешком по дороге на Чугуев. Их руки и лица были в крови от осколков стекла и керамики, и кровь эта смешивалась со слезами. Перед уходом они весь день своими собственными руками крушили хрупкое драгоценное оборудование уникальной криогенной лаборатории и один из лучших в то время генераторов ван де Граафа, «чтобы все это не досталось немцам», которые в эти же часы подходили к Харькову с запада.

К концу войны, после многих перипетий, отец оказался в Свердловске в группе ученых (тогда еще малочисленной), которая начала заниматься атомным проектом. Существенную часть этого проекта вел в Свердловске и на площадке в сотне километров от города его старший брат Исаак. Отец с энтузиазмом включился в работы по разделению изотопов, а в 1945 году, вместе со всей командой, он был переведен в Москву, где его и настиг донос, посланный вдогонку то ли Факидовым, то ли Носковым, то ли обоими вместе – бывшими соавторами Исаака, которых «не взяли».

*Из книги Павла и Анатолия Судоплатовых «Специальные задания»**

«...Кикоин скоро осознал, как хорошо быть в добрых отношениях с НКГБ. Берия распорядился, чтобы все отчеты по надзору за участниками проекта и их родственника-

* Sudoplatov P., Sudoplatov A. Special Tasks: The memoirs of an Unwanted Witness – a Soviet Spymaster. N.Y., 1994.

ми направлялись ко мне (П. Судоплатов в то время был начальником группы «С», занимавшейся координацией добычи и реализации разведанных по атомной бомбе в соответствующем отделе НКВД. – К.К.). Через две недели я получил от агента информацию, что младший брат Кикоина хранит у себя в столе троцкистский памфлет, тайно ввезенный в Советский Союз в 1928 году. Хуже того, он оказался столь глуп, что показал его одному из своих коллег, который немедленно отрапортовал об этом сотруднику НКГБ. В наше время может показаться, что в коллекционировании исторических раритетов нет ничего предосудительного, но в те времена все было по-другому. Люди из контрразведки настаивали на аресте родственников Кикоина (*моих родителей* – К.К.), что означало бы конец его академической карьеры. Я проинформировал Берия, который приказал мне вызвать Кикоина, поговорить с ним и предложить ему проучить брата, чтобы он прекратил заниматься этими глупостями. Вместо этого я поехал к нему в лабораторию и рассказал про неосторожное поведение брата. Кикоин пообещал разобраться со своим младшим братом, который, по его объяснению, собирал исторические рукописи и прокламации. Позднее Кикоин позвонил мне и сказал, что он дал брату пощечину и убедился, что троцкистский памфлет уничтожен».

Письмо Абрама Кикоина, направленное им в газету «Известия» осенью 1995 г.

«Ваша газета уже не раз уделяла внимание книге П.А. Судоплатова “Специальные задания”, особенно седьмой главе этой книги “Атомные шпионы”. Я получил возможность ознакомиться с этой главой в оригинале, а не с откликами на нее. Не без удивления обнаружил я пару десятков строк, посвященных мне. Незначительный по объему, отведенному ему в книге, не очень интересный по существу эпизод, связанный со мной, можно было бы ос-

тавить без внимания, если бы не поразительное несоответствие написанного тому, что имело место в действительности.

Автор пишет, что в 1945 году к нему поступило донесение о том, что я якобы храню какой-то, как сказано в книге, памфлет Троцкого, и не только храню, но и показываю его своим коллегам. Об этом было доложено Берия, который будто бы предложил моему старшему брату И.К. Кикоину “дисциплинировать” младшего брата, в результате чего будто бы последовала физическая расправа брата со мной. В этом рассказе верно только то, что на меня в самом деле поступил донос, и не один. 30 октября 1945 года я был вызван в Первое Главное Управление, где предстал перед тремя генералами – наркомом боеприпасов Б.Л. Ванниковым, зам. наркома внутренних дел А.П. Завенягиным и третьим, неизвестным мне генералом (не исключено, что этим “третьим” генералом был сам Судоплатов). Мне сообщили, что на меня поступили материалы из Харькова, где я работал до войны, и из Свердловска. В доносе из Харькова по-видимому сообщалось, что я был аспирантом проф. Л.В. Шубникова, арестованного и расстрелянного в 1937 году (реабилитирован в 1957 г.).

Я был также ассистентом кафедры физики Харьковского университета, которой руководил Л.Д. Ландау, и когда в декабре 1936 года Л.Д. Ландау был уволен, я, вместе с другими сотрудниками кафедры, подал заявление об увольнении. Эта коллективная акция была тут же квалифицирована как “антисоветская забастовка”. Аспирант “врага народа” и участник “антисоветской забастовки” – вполне достаточный для того времени компрометирующий материал. О доносе из Свердловска Б.Л. Ванников сообщил мне почти открытым текстом. В нем меня обвиняли в... “англофильстве”. Оно проявилось в том, что в докладе на профсоюзном собрании о политическом положении, сделанном в ноябре 1943 года, я, в соответствии с

инструктажем в горкоме партии (я был внештатным лектором горкома) не слишком порицал Англию за задержку с открытием второго фронта. Но автор доноса “забыл” указать на то, что доклад был прочитан не в октябре 1945 года, когда политическая ситуация изменилась, а в ноябре 1943 года. О каком-то “памфлете” Троцкого не было и речи. Да и не было у меня никакого памфлета. А результатом этой моей встречи с тройкой генералов было отстранение меня от работы по, как тогда говорили, урановой проблеме.

Таково точное описание эпизода, относящегося ко мне. Насколько же оно отличается от версии Судоплатова! Об этом незначительном эпизоде (для меня, впрочем, он был очень значительным, сломавшим всю мою жизнь) не стоило бы и писать. Но удивительное искажение его в книге Судоплатова не может не вызвать сомнения в достоверности и каких-то других сообщаемых им фактов.

Можно понять (но не оправдать!) стремление автора представить пользующихся всеобщим признанием и уважением физиков во всем мире, таких замечательных людей науки, как Р. Оппенгеймер, Э. Ферми, Л. Сциллард, Н. Бор, в качестве осведомителей наших секретных служб. Ведь это свидетельствует об исключительной эффективности, в частности, службы, возглавлявшейся самим Судоплатовым. Но зачем же возводить различные напраслины на наших деятелей науки? Зачем принижать их роль в создании ядерной энергетики в нашей стране, сводить ее чуть ли не к простому техническому выполнению добытых шпионами чужих проектов? Нельзя, разумеется, полностью отрицать значение добытой разведкой информации. Но атомное оружие, атомная энергетика в нашей стране – плод, прежде всего, самоотверженного труда наших физиков, химиков, инженеров, рабочих. Я живой свидетель того, как работал, например, мой брат, академик И.К. Кикоин, под руководством которого была создана новая отрасль промышленности, производящая, в частно-

сти, конкурентоспособный на мировом рынке экспортный товар – обогащенный уран. В течение многих лет работа по 12-15 часов в сутки без выходных дней и отпусков. Именно такие люди, а не судоплатовы и хейфецы, сделали нашу страну ядерной державой.

А.К. Кикоин»

А вот как выглядит тот же эпизод в русском переводе книги Судоплатова и его сына, изданной через несколько лет в Москве.

«...В начале 1944 года Берия приказал направлять мне все агентурные материалы, разработки и сигналы, затрагивающие лиц, занятых атомной проблемой, и их родственников. Вскоре я получил спецсообщение, что младший брат Кикоина по наивности поделился своими сомнениями о мудрости руководства с коллегой, а тот немедленно сообщил об этом оперативному работнику, у которого был на связи. Когда я об этом проинформировал Берия, он приказал мне вызвать Кикоина и сказать ему, чтобы он воздействовал на своего брата. Я решил не вызывать Кикоина, поехал к нему в лабораторию и рассказал ему о “шалостях” его младшего брата. Кикоин обещал поговорить с ним. Их объяснение было зафиксировано оперативной техникой прослушивания, установленной в квартирах ведущих ученых-атомщиков».

Удар был сокрушительным, но надо было жить. Отец вернулся в Свердловск и стал экспериментатором в Институте физики металлов и преподавателем в Уральском политехническом институте. Промежуточный пункт на пути из эвакуации оказался конечной станцией. Несколько лет он занимался в ИФМ изучением электропроводности и теплопроводности металлических сплавов (кстати, вместе с Факидовым). Во второй половине 50-х его соблазнила возмож-

ность основать новое направление работ в ИФМ – радиационную физику металлов, которая тогда переживала революционный период своего развития. Он оставил свои сплавы ради строительства линейного ускорителя на базе Белоярской АЭС. Он готовил себя и свою лабораторию к реализации многолетней научной программы... но «наверху» было решено, что хозяином новой установки будет другой человек.

Прошло еще несколько лет. Очередное «дело» было инициировано тем же кадровым стукачом Носковым. На этот раз, партком института вынес отцу выговор за политически невыдержанно проведенную первомайскую демонстрацию на ежегодном слете уральских альпинистов на Азов-горе (в партию он вступил после XX съезда, как и многие ангажированные интеллигенты, поверив, что теперь ее линия таки выпрямилась). Выговор был последней каплей, и отец покинул ИФМ, не оглянувшись. Это был конец его научной биографии. Последняя экспериментальная работа А.К. Кикоина появилась в печати в 1971 году, когда ему было всего 57 лет.

Его преподавательская карьера сложилась более успешно и счастливо. Он был прирожденным лектором и учителем. В качестве заведующего кафедрой общей физики УПИ он обучил с конца 40-х по середину 50-х годов началам физики бесчисленные легионы инженеров, занявших места во всех эшелонах отечественной промышленности и ее партийного руководства. Например, Н.И. Рыжков, будущий член Политбюро и премьер в эпоху Горбачева, сдал ему физику по меньшей мере со второго захода, «потому что иначе бы я его не запомнил», как рассказывал отец позднее. Его работа в Уральском госуниверситете в 60-е – 80-е годы была естественным продолжением преподавательской карьеры, блестяще начатой после войны. Много сил отец вложил в написание университетского курса «Молекулярная физика», первое издание которого вышло в 1963 году. К писательской деятельности его привлек старший брат, хотя первую по-

пытку такого рода отец предпринял по инициативе Л.Д. Ландау еще в счастливый харьковский период. Тогда Дау предложил ему составить описание экспериментальных методов исследования тепловых явлений для задуманного им курса общей физики. Текст был написан и одобрен Ландау в 1937 году, но Ландау вскоре был арестован, и вопрос об издании курса «отпал». Книга все же дошла до печати (в послевоенном 1948 году), но глава, написанная отцом, была утеряна и так и не восстановлена.

Сотрудничество двух братьев продолжалось, и в результате появился курс «Физика-9», ставший стандартным школьным учебником, вместо знаменитого «Перышкина», на целых 25 лет. Если воспользоваться аналогией с парой Л.Д. Ландау – Е.М. Лифшиц, то отцу в этом тандеме досталась роль Лифшица, и он ее исполнил со всей возможной добросовестностью. Он продолжал работу над новыми изданиями и после смерти брата, вплоть до середины 90-х годов. И в последние месяцы жизни для него не было большей радости, чем подержать в руках новую книжечку в глянцевого обложке – очередное издание «Физики-9», которое будет читать очередное поколение старшеклассников. Курс «Физика-10» в соавторстве с братом, С.Я. Шамашем и Э.Е. Эвенчик, многочисленные статьи для журнала «Квант», которые он подписывал псевдонимом А. Белкин, сотни научно-популярных лекций, брошюры и семинары, popularизирующие последние достижения в самых различных областях физики, – это плоды его педагогической деятельности последних лет жизни. Он любил свою науку бескорыстно и стремился сделать ее удивительные достижения доступными для всех.

Отец никогда не пытался играть в профессора, исполненного самоуважением жреца науки. Он явно предпочитал академическим кругам компанию своих друзей-альпинистов и скалолазов. Именно с этими ребятами он чувствовал себя

свободно. Он принадлежал к первому поколению советских альпинистов. Начав ходить в горы еще в 30-е годы, он часть военных лет провел в горах Тянь-Шаня, где обучал горных стрелков. Оказавшись в Свердловске, отец немедленно вступил в местное отделение федерации альпинизма и в течение многих лет был его председателем. В начале каждого лета он собирал рюкзак, брал свой замечательный ледоруб и исчезал, провожаемый вздохами мамы и нашими с сестрой безуспешными просьбами взять нас с собой. Насколько я знаю, он пропустил только два сезона: в 1947 году, после рождения моей сестры, и в 1962 году, когда они с братом писали «Молекулярную физику».

Горы были местом, где отец чувствовал себя счастливым и свободным (что для него, по-видимому, было одно и то же). Возможно, эти три ежегодных летних месяца до некоторой степени помешали его научной карьере, но зато они сформировали его личность не в меньшей степени, чем твердая рука старшего брата. Как альпинист отец был прежде всего членом команды, а не спортсменом, озабоченным личными достижениями. Он подготовил десятки мастеров спорта, несколько чемпионов СССР, первовосходителей, покорителей Эвереста и других гималайских «восьмитысячников», но сам звание так и не получил, хотя выполнил мастерский норматив еще в 1954 году. («Как это я буду сам на себя подписывать представление в качестве председателя федерации?») Председательский пост он покинул, оставаясь в скромном звании старшего инструктора, после того, как не смог отстоять во Всесоюзной федерации альпинизма обещанную Свердловску квоту из трех человек в экспедицию на Эверест – взяли только Сергея Ефимова. («Раз я не смог этого сделать, значит надо уступить место тому, кто сможет в следующий раз».)

Последние годы жизни, после смерти старшего брата, ухода с поста председателя Федерации и выхода на пенсию из университета, отец провел в своем кабинете, в центре



Абрам Кикоин дает прикурить Дон Кихоту. Свердловск, 1954 г.

которого стоял дубовый стол. На обширной столешнице, кроме папок с рукописями, умещался большой Дон Кихот, орел на чугунной скале того же каслинского литья, в углу – приемник, по которому он слушал утром и вечером «Коль Израэль» и другие «голоса», и портрет брата в настольной рамке прямо перед глазами. На стенах – фотографии вершин Большого Кавказа, карандашный портрет Дау, ледоруб на гвозде.

Одну из стен занимали стеллажи, уставленные книгами по физике, истории и альпинизму. Визиты бывших коллег и товарищей постепенно становились все более редкими. Жизнь продолжается, у всех свои собственные проблемы, и вообще «довлеет дневи злоба его». Пришло время мемуаров. Он написал воспоминания о своем брате, учителях и друзьях молодости (Ландау, Шубникове, Алексеевском). Я подбивал его написать что-нибудь и про себя самого, он согласен кивал... но ничего не происходило. Журнал «Квант» продолжал заказывать ему статьи, и отец писал их, хотя с каждым годом эта работа давалась ему все с большим трудом.

В доме стали появляться новоиспеченные иудеи. Слухи об отцовской еврейской мудрости распространились довольно широко, и жаждающие обретения национального самосознания текли к нему в дом тонким, но неиссякающим ручейком. Теперь его заметки, объясняющие элементарные истины Торы и дающие первоначальные сведения из истории еврейского народа, стали появляться в местных еврейских газетах. На годовых праздниках он являлся желанным гостем, пото-

му что был единственным человеком в городе, знавшим «се-дер». Он делал подстрочники для переводчиков еврейской поэзии, переводил классиков еврейской литературы («Ха-Диббук»), составлял выписки из еврейских мудрецов для желающих приобщиться к этому источнику. За перевод «Диббука» он получил специальную премию Джойнта. Когда, приняв решение о репатриации, я появился в посольстве Израиля в Москве, один из сотрудников, узнав мою фамилию, спросил, не родственник ли я Абраму Кикоину – единственному подлинному еврею в России к востоку от Волги. Отец разговаривал с любым, кто к нему обращался. Он мечтал увидеть Эрец-Исраэль своими глазами. Его ученики совершали алию один за другим... а он оставался дома. С собой в Израиль я привез отцовский талит, махзор и тфилин, полученные им когда-то от своего отца. А еще сына Илью – последнего носителя фамилии в нашей ветви семейства Кикоин. Здесь я обнаружил немалое число представителей других ее ветвей (точнее сказать, они меня обнаружили...). Оказалось, что первые Кикоины прибыли в Эрец-Исраэль из Белоруссии еще в 1925 году.

Последним крупным событием в жизни отца было празднование его восьмидесятилетия. Впервые он въяе почувствовал степень общественного признания. Интервью для местного радио и телевидения, статьи в газетах, торжественное заседание Ученого совета УрГУ, фильм о нем, сделанный режиссером Свердловской телестудии... Фильм построен на монтажных стыках. Старый профессор, сидя в своем кабинете, негромким, но отчетливо слышным голосом профессионального лектора рассказывает о своем брате и о себе, о науке, альпинизме и еврействе («я человек неверующий, но если бы случилось чудо и какая-нибудь фея перенесла меня в Израиль, то первое, что бы я сделал, – это пошел в ближайшую синагогу»), проходит по университетскому коридору, где почти каждый встречный с ним здоровается, выступает на Ученом совете с речью отнюдь не юбилейной, в которой выска-

зывает тревогу о падении уровня образования в России и о том не очень далеком будущем, когда нынешние недоучки приступят к управлению страной.

Эти рассказы перебиваются кадрами, запечатлевшими митинг ячейки какого-то из «союзов русского народа», заквашенного на «национальной идее». Местный фюрер со ступеней бывшего Дворца молодежи в окружении соратников среднекомсомольского возраста в галифе и португелях, с хоругвями, приставленными к сапогам, излагает эту самую идею прохожим, случившимся поблизости по случаю погожего весеннего воскресенья: «Ибо сказано: очистить нашу Святую Землю от скверны можно только, пролив кровь испоганивших ее инородцев, и она будет пр-р-ролита, эта кр-р-ровь!»... Фильм называется «Я был и буду».

В последние два года его жизни телефон звонил все реже и реже, и почти никто не стучал в дверь. Вплоть до дня похорон...

На похоронах все говорили о добрых делах, которые отец совершил в жизни. Как-то вдруг обнаружилось, что он никогда никому не делал зла. Добрые свои дела он не запоминал и о них особенно не рассказывал ни жене, ни детям. Но люди, пришедшие на похороны, о них не забыли. Была ли его жизнь счастливой? Если судить по внешней канве, то, наверно, нет. Число несчастий, утрат и катастроф в ней было больше, чем положено среднему человеку, хотя и меньше, чем досталось на долю многих его друзей. Не сидел, не ходил по этапу, не стрелял в себе подобных, оставил после себя детей, книги, учеников. Умер у себя дома, когда жизнь закончилась сама. Ему достало мудрости быть внутренне свободным в жестких рамках, поставленных жестоким веком. Быть ровесником эпохи мировых войн и прожить жизнь Дон Кихотом в стране победившего большевизма – это, наверно, тоже достойно записи отдельной строчкой в страшной летописи двадцатого столетия.

МОЯ ПЕРВАЯ КНИЖКА

*Ну, так и пишете – еврей,
воспитанный на Пушкине.*

Из анекдота застойных 70-х

В высоких валенках, в горностаевой мантии внакидку, в мономаховой шапке, сдвинутой на затылок, царь топчется *позадь забора*, скрипя зернистым снегом, вглядывается в морозный узор на слепом оконце и вслушивается, изнывая от любопытства, в певучий девичий говор, доносящийся из протопленной горницы. Это первая картинка на первой странице первой книжки, прочитанной мной самостоятельно от корки до корки. Книжка в картонном переплете лежит передо мной на столике с голубой пластиковой столешницей



Илл. к «Сказке о царе Салтане.

Худож. К. Кузнецов, М., 1949.

и желтыми деревянными ножками. Иллюстрации – цветные, неотчетливой послевоенной печати, но воображение, подгоняемое волшебным словоплетением, легко дополняет их до ярких объемных сцен. Тяжелая бочка, выплеснутая мрачным морем на мокрый песок пустого *берега*. Бедная белка, ломающая зубки об орешки, в которых вместо вкусной сердцевины какой-то никчемный камень-изумруд. Три тетki, обсевшие со всех сторон поглупевшего Салтана в зале с низким сводчатым потолком, подпираемым пузатыми колоннами. Черный фашистский коршун, пикирующий на белопенную Ца-

ревну-Лебедь... Мне четыре года, и это мой первый Пушкин. По другую сторону столика сидит моя младшая сестричка, ревниво наблюдает за успехами брата и тоже понемногу обучается искусству чтения Пушкина. Справа налево и вверх ногами.

А вот и второй Пушкин. Я уже в школе, хотя и в начальной. Книжка – солидная, с взрослым мелким шрифтом и взрослыми же картинками: иллюстрациями Александра Бенуа, как я понимаю теперь. Я с замиранием сердца слежу за тем, как маленький черный человечек на подгибающихся ногах пытается убежать по подсыхающей после потопы пустынной улице от огромного коня со всадником. Всадник и неподвижно восседает, и одновременно *тяжело-звонко* скачет по *потрясенной* булыжной мостовой. Улица пуста, ни прохожего, ни милиционера, и никто-никто не спасет бедного Евгения. А через полсотни страниц – трагедии, но почему-то очень маленькие. Одна из них оканчивается удивительным вопросом: «*И не был убийцею создатель Ватикана?*». Я обращаюсь к маме за разъяснениями насчет *Бонаротти*, она, немного подумав, достает из какой-то заветной шкапулки со старыми письмами открытку, – иностранную, еще дореволюционной рельефной печати, – на которой изображен старик со всклокоченными волосами, редкой бородкой, недобрыми глазами и тяжкими морщинами на щеках. Такой старик вполне мог и убить. Вопрос так и остается вопросом.

Жизнь, казавшаяся длинной, тем не менее подбирается к своему законному концу. Почти все предметы, наполнявшие маленький мирок человечка, рожденного *во глубине сибирских руд* (ну, уральских, какая теперь разница!), обратились в пыль, и даже призрачные формы их исчезли из культурного пространства: нелепая детская сбруя с пуговками и резиночками, надевавшаяся на тощих послевоенных детишек; страшные клизмы, отвратительная английская соль, цитвар-

ное семя, рыбий жир и сладкий церковный кагор, которыми нас пользовали от тогдашних детских болезней; черный картонный раструб радиоточки, из которого иногда на радость детям доносился писклявый голосок Рины Зеленой, но чаще – мобилизующая «Пионерская зорька» и «Последние известия», почти не менявшиеся ото дня ко дню; красные железные трамваи, ледяные зимой и душные летом, враскачку громыхавшие по разъезженным рельсам; трофейные «оппели» и «виллисы», деревянные «газики», кургузые «москвичи» и шикарные «победы» с шашечками, изредка проезжавшие по булыжным проспектам областного центра.

Проспекты обставлены двухэтажными особнячками (каменный низ, деревянный верх) вперемешку с конструктивистскими домами, выстроенными советской властью для Ивана Козырева, его сотоварищей по литейному цеху и полезных евреев-специалистов. Ряды домов прерываются высоченными непроницаемыми заборами, за которыми гудит и ухаёт что-то железное... Ничего этого больше нет, а «Сказка о царе Салтане» в картонном переплете осталась, и стоит она теперь на книжной полке в моем доме в стране, которой отроду меньше лет, чем мне, и которую в годы моего детства на родине Советов иначе, как наймитом британского империализма, не называли. И вся-то моя жизнь умещается в этот картонный переплет. За что ни ухватишься – все там коренится.

Половина этой жизни прошла в первопрестольной, откуда я регулярно наведывался в развенчанную новую столицу, возведенную *чудотворным строителем*, про которую будто бы некий *Альгаротти* где-то сказал: «*Petersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe*». В те времена называть Ленинград окном в Европу язык никак не поворачивался. После того, как этим окошком воспользовались утекшие из той самой Европы большевики, воровски влезши в него недобрым апрельским утречком семнадцатого года, оно было ими же накрепко заколочено. Но идея осталась.



Я получил этот город из рук моей мамы – Екатерины Ивановны Сосенковой, выпускницы предвоенного филфака ЛГУ, вывезенной со своим факультетом на Большую землю ранней весной 42-го года и сохранившей в своей памяти Ленинград 38-го – 41-го в полной неприкосновенности. Вместе с рассказами о тогдашних корифеях филфака – Гуковском, Эйхенбауме, Жирмунском. Вместе с ее филфаковскими подружками, пережившими войну,

Екатерина Сосенкова. Нач.50-х гг. блокаду и все послевоенное. С колонным залом бывшего Дворянского собрания и легендарным Мравинским, к моему времени высохшим почти до костей, но по-прежнему властно раздававшим своим дирижерским жезлом партии и голоса *послушливым* оркестрантам. С желтым домом по роковому адресу Набережная Мойки 12, где навсегда закатилось солнце русской поэзии.

Мы, *племя младое, незнакомое*, жили уже при лунах Серебряного века, подсвечиваемых из-за горизонта нашим Главным Светилом. И с изумлением замечали, что почти на любое событие недоброго двадцатого столетия находится в корпусе его сочинений предсказательная цитата. Вот аллюзия на переворот, погубивший Россию через восемьдесят лет после смерти Поэта: *Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом*. А вот удалой *кромешник*, который ледяной московской ночью летит через площадь на свидание к милой после дня, проведенного на царевой службе, когда он на той же площади яростно топтал конем, *усердной мес-*

тию горя, лихих изменников царя. Конь захрапел и стал под глаголем, с которого свисает мерзлый труп вчерашнего подследственного, а бестрепетный гэбешник оглаживает коня плетью, готовый мчаться дальше. Или краткая формула вечнозеленой российской сырьевой экономики: *щепетильный Запад по балтийским волнам за лес и сало возит к нам продукты своего «хайтека».*

Описанный литыми ямбами потоп вновь повторился через век, но откликнуться на него новым «Медным всадником» было некому. Великий Петр вместе с конем и змеей намертво прирос к своему утесу. Впрочем, отыскался человек, не побоявшийся погрозить медному истукану. Это был Хаим Ленский, литовский еврей, нелегально проживавший в колыбели революции, ивритоязычный поэт, воспитанный на Пушкине и носивший пушкинское имя. Герой его поэмы «Делатор» (по-советски – «сексот»), гонимый властями Иосиф, во время потопа 1924 года оказывается на той же роковой площади, что и пушкинский Евгений, но жест простертой руки самодержца он принимает за указание милиции схватить беглеца, во гневе обзывает царя «сексотом» и лишается разума. Поэму эту, написанную на запрещенном иврите, никто, кроме ближайших друзей автора, не прочитал. Хаима Ленского через несколько лет изловили (скорее всего, при помощи «делатора») и сослали в Сибирь. Да и жизнь из переименованного Петербурга утекла к тому времени назад в первопрестольную.

В Москве времен глубокого застоя и лихорадочной перестройки, на которые пришлась бóльшая часть моей взрослой жизни, присутствие Пушкина как-то не ощущалось. Несмотря на трогательные заклинания Булата Окуджавы. Несмотря на музеи, улицы, площади и транспортные узлы, нареченные в его славу. Несмотря на снос безобразного двухэтажного лабаза с продмагом по всему полукруглому фасаду, добрых полтора столетия заслонявшего вид на церковь Вознесения

Господня, где венчались раб Божий Александр и раба Божия Наталия. Несмотря на отреставрированный и подкрашенный особнячок на Арбате, куда Пушкин ввел свою молодую жену. Опекушинский монумент, кощунственно переставленный со своего законного места в начале Твербуля на пустырь, оставшийся от взорванного Страстного монастыря, призывал *милость к падшим* на фоне легкомысленной стекляшки кинотеатра «Россия». Призыв этот потерял убедительность к концу столетия оптовых смертей, о которых большинство соплеменников поэта предпочитало не вспоминать, имея на то веские причины. Да и сам бронзовый Александр Сергеич был всего лишь фоном для снимающегося семейства, пьедесталом для откормленных московских птичек и удобным местом встречи для плохо знающих московскую географию гостей столицы.

Соломенный вдовец Салтан, отвоевавшись в молодости, засел в своем застойном царстве, где из года в год ничего не менялось. Только и развлечений, что сезонный визит купцов с гостинцами, надо полагать, плававших на заветный Запад ганзейскими путями через Псковское и Чудское озера *мимо острова Буяна*. На сакраментальный вопрос самодержца: *Ладно ль за морем иль худо?* – путешественники честно отвечали: – *За морем житье не худо...* – к неудовольствию боярского верховного совета и бабского политбюро. И мы, которым, как и Пушкину, про заморское житье было известно только из сочинений разрешенных иноземных классиков (да еще трофейных кинофильмов), повторяли со вздохами: *За морем житье не худо...* – хотя Александр Сергеевич трезво предупреждал князя Вяземского, а через него и нас, что не следует воспламеняться зовами свободной стихии, ибо: *На всех стихиях человек – тиран, предатель или узник*.

Когда наша молодость уже окончательно *миновалась*, да и от зрелых годов остались одни огрызки, пресловутое окно в Европу стало со скрипом приоткрываться, и мы, наконец,

пустились по воле волн мимо острова Буяна без надлежащего оснащения, но с Пушкиным в башке. Оглядевшись на Западе и вступив в культурные контакты с туземцами, мы с некоторым удивлением обнаружили, что русская литература для них – это Толстой, Тургенев, Достоевский и Чехов, а про Пушкина они в лучшем случае что-то такое слышали. Есть у меня знакомый канадец, человек многих качеств, проживший довольно извилистую жизнь, в которую уместилась диссертация по философии, защищенная во Франции, недолгая карьера уличного певца с гитарой в той же стране, вторая диссертация уже по теоретической физике, профессорство в Голландии, профессорство в Британской Колумбии, знание тонкостей всех разновидностей английского языка от Ванкувера на западе Канады до Крайстчерча на юге Новой Зеландии. Как-то раз, доедая спагетти в столовке университетского кампуса в небезызвестном калифорнийском городке *Santa Barbara* (я – с помощью вилки, а Фил – по-простому, пальцами), мы плавно перешли в ходе застольной беседы от длинной истории английской литературы к короткой истории русской словесности. Я тут же выставил транспарант с Пушкиным, а Фил искренне изумился – как это можно объявлять кого-то «нашим всё». Я со смешком сослался на исторические традиции, а потом всерьез сказал, что именно Пушкин научил нас писать по-русски, а не переводить с церковнославянского, немецкого и французского. Фил, конечно, читал Пушкина в переводах. По его понятиям, А.С. был добросовестный культуртрегер, донесший до тулупной Москвы и чиновного Петербурга хромой романтизм Байрона и трезвый скептицизм Мериме. Я пустился в объяснения насчет невероятной для подданного его императорского величества внутренней свободы, которая претворилась в безупречную гармонию вольно летящих строк. Фил покончил с макаронами, облизал пальцы и направился к выходу, исполненный

внутренней свободы. Похоже, что я его не убедил. Но это не удалось и Набокову. Увы, золотой запас, которым обеспечиваются бумажные ассигнации русской поэзии, не конвертируется в твердую международную валюту. *Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса.* Как это по-французски?

А теперь о неизбывном: П у ш к и н и е в р е и. Нас, русскоязычных, всегда горько обижало сознание того, что наши любимые авторы, на сочинениях которых нас старательно воспитывали школьные училки, русские писатели, мастера слова, открывшие нам неисчерпаемые сокровищницы родного языка, по части еврейского вопроса в большинстве своем были немножечко... не того. У Пушкина, впрочем, евреи и в стихах, и в прозе встречаются не часто и почти всегда мимоходом. Видно, что тема его не слишком интересовала. *Презренный еврей* – проходной персонаж в «Черной шали». Мария в богохульной Гавриилиаде – *молодая еврейка*, но не в этом суть. В знаменитой эпиграмме на поляка Фаддея Булгарина сказано: *Будь жид – и это не беда.* А беда в том, что он доносчик по полицейскому ведомству. Но есть у Пушкина один детально разработанный образ – финансист Соломон в «Скупом рыцаре». Младой Альбер не скупится на энергичные ругательства в ответ на намеки жида, что имеется у него знакомый аптекарь Товий, который мог бы помочь рыцарю разрешить его финансовые проблемы (заодно и Соломону должок вернуть). Соломон – мелкий провинциальный Шейлок? Однако давайте немножко подумаем. Этот корыстный, но сообразительный еврейский коммерсант призван Альбером, чтобы хоть на время избавиться от гнета собственного отца – ростовщика, жестокого бессмысленного скупца, гноящего сокровища в сундуках, не имеющего ни капли жалости ни к бедной вдовице, ни к собственному сыну. Скупой рыцарь – отнюдь не еврей! Он по крови – благородный барон, в молодые годы служивший своим

мечом герцогу Фландрскому. Он *богат и сам, как жид*. Еврей Соломон на его фоне – безобидный гешефтмахер.

Ну что ж, евреи, воспитанные на Пушкине, доехали наконец до земли обетованной. Некоторые прихватили с собой заветный десятитомник. А там на 415-й странице третьего тома любопытный сатрап Олоферн, собравшись походом на Иудею, вопрошает у своих разноплеменных советников:

*Кто сей народ? и что их сила,
И кто им вождь, и отчего
Сердца их дерзость воспалила,
И их надежда на кого?..»*

Военачальник Ахиор встал, чтобы ему ответить, но тут поэма оборвалась, как и многое другое в жизни Пушкина.

Любознательный русскоязычный, едва выучив древний двадцатидвух-буквенный алфавит, спешит узнать, как звучат стихи на иврите. И открывает Пушкина в переводе Авраама Шлэнского, и разбирает по буквам: *Онегин, едиди миноар, аль гдот нэхар Нева нолад...* Продолжая углублять свои познания в израильской литературе, он выясняет, что ее основатели в большинстве своем были воспитаны на том же самом Пушкине, что и он. Но задули новые ветры, и израильская поэзия присоединилась к обозу англо-американского авангарда, ссадив Александра Сергеевича с корабля современности. Новоприбывший потихоньку знакомится с новообретенной исторической родиной, русскоязычные старожилы приводят его в Яффо на улочку Пушкина, которая упирается одним концом в Микеланджело, а другим – в Песталоцци. Он ходит по улицам израильских городов, разъезжает в автобусах «Эгеда», и везде ему встречаются тоненькие эфиопские мальчики в форме солдат ЦАХАЛа с неизменными М-16 через плечо, которые разговаривают на немислимой смеси иврита с амхарским. Тоненькие эфиопские мальчики с медально вырезанными пушкинскими профилями...